

«Город Кадников не город,
И селом не назовешь:
Электричество погаснет –
Керосина не найдешь!»

Глава первая

ПРОКЛЯТЫЙ РОД

Иван Окатышев ненавидел старую Глафиру Булиху черной ненавистью. От прочих бабuleк, населявших тихонький городишко под Вологдой, Глафира Булина не отличалась ничем. Те же запавшие, в мутной мокроте, глаза, та же черно-желтая ссохшаяся кожа на щеках, синюшные губы. Самая обыкновенная старуха. Разве что годами много старше она любой соседки – прочие бабушки ей как бы в дочки годятся.

Но стоило Окатышеву повстречать на городской улочке Булиху – он, солидный мужик, шустро перепрыгивал на другую

сторону, словно пацан, вицей подстегнутый. И, обернувшись, долго провожал спину старухи злющими глазами и, не стыдясь прохожего люда, сквозь зубы не выговаривал – выталкивал:

– Все еще скрипишь, старая карга! И черт тебя не берет!

В такие моменты прохожий люд не узнавал Окатышева, словно чужой незнакомый человек свалился невесть откуда. Ведь так-то Иван и мухи не обидит, к другим старухам в городке у него почтение имеется непоказанное...

В последнюю свою зиму Булиха совсем сдала. И здоровьем и

Николай Александрович ТОЛСТИКОВ родился в 1958 году в городе Кадникове Вологодской области. После службы в армии работал в районной газете. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В настоящее время – священник храма святителя Николая во Владычной слободе города Вологды. За многолетнюю службу и храмостроительство удостоен Патриаршей награды – ордена преподобного Серафима Саровского и епархиальной – медали преподобного Димитрия Прилуцкого. Автор нескольких книг прозы, публиковался в газетах и журналах. Лауреат литературных премий. Награжден медалью Союза писателей России «Василия Шукшина».

Живет в Вологде.

разумом. В самые лютые морозы не крутился дымок над крышей ее добротного дома, молодцевато выглядевшего не в пример хозяйке. К калитке вели несколько едва продавленных, запорошенных снежком следочков. Соседи не раз думали, что Бог прибрал Булиху, и ошибались...

Братья Окатышевы проведать свою мать Марию Николаевну забегали всегда порознь: Иван – утречком ранехонько, Федор – вечером почаяевичать. Но как-то раз старший брат, сухой и маленький, против упитанного дебелого Ивана – одна арматура, заглянул к матери тоже по утрянке. Пощекотал за пятку нежившегося на печи младшего; братья заболтались: встречались-то нечасто.

Не вдруг расслышали они, как на крыльчке запоскрипывал под чьими-то неверными шагами снег, а по дверному полотну зашаборошил нетвердою рукой будто кто-то незрячий.

Булиха возникла в проеме двери вся укутанная в черную побитую молью шаль. С порога в избу устремились белесые клубы морозного воздуха, заметались по горнице, растекаясь по полу. Но не холод с улицы заставил Ивана поежиться – старухин взгляд был куда ледянее! В черных бездонных зрачках ее глаз застыло что-то зловещее, недоброе и безжизненно поблескивало, словно чешуя вмерзшей в лед рыбины. От этого неживого блеска руки и ноги Ивана проняло зябкой противенькой дрожью, он даже печное тепло перестал чувствовать.

Мария Николаевна поспешила навстречу Булихе с узелком койкакой снеди. Старуха, приняв подаяние, прошамкала невнятно:

– Коли зайдет Гришенька, пошлите ко мне!

После ухода гостя по избе еще долго разгуливал студень сквозняк, тепло русской печи расправлялось с ним через силу. Мария Николаевна подошла к окну и задумчиво проговорила Булихе вслед:

– Так-то и дождешься своего внучка! Живет, небось, припеваючи за тридевять земель...

Иван соскочил с печи и рядом с матерью прижал нос к заляпанному изморозью стеклу.

Булиха брела по тропинке к соседнему дому. Брела, расставив, чтобы не упасть, в стороны руки, ветер надувал, трепал ее шаль. Булиха походила на взъерошенную большую ворону, у которой были подбиты оба крыла...

А Мария Николаевна помнила Глафиру еще молодой. И было Маше в ту пору едва ли десять лет, когда она впервые увидела эту женщину.

Маша приехала с отцом из деревни в городок на праздник Рождества Христова. Всю неблизкую дорогу, раскачиваясь в возке и рассеянно глядя на заснеженные поля и ельники, проплывающие за обочиной, девчонка думала об обещанном подарке – красивой цветастой шали. Отец решил побаловать обновкой самую младшую, шестую, дочь – хватит ей обноски после сестер донашивать. Да и росла Маша без матери, которую не помнила – в годовалом возрасте осталась. Мачеху в дом старшие дети не пожелали.

В городке праздником не пахло – не валил скопом принаряженный народ от церковной службы и на площади перед собором меж деревянных торговых рядов не толкся с гамом. Ряды, наполовину разломанные, были пусты – ни

торговцев, ни покупателей, ни из окрестных деревень телег с товаром, прежде охватывавших площадь тесным кольцом. Лишь ветер гонял вихри поземки по непрямому снегу.

От этого безлюдья, пустоты беспросветное серое небо, угрюмо нависшее над городком, прямо на глазах опускалось еще ниже, словно намеревалось без пощады раздавить своей тяжестью все и вся. И лишь золоченые кресты собора удерживали серую зыбучую массу от падения, дерзко и победно сверкали. Сыпалась мелкая секущая пыль снежной пороши. Маше хотелось втянуть голову в плечи и сидеть, сжавшись, не двигаясь, уставясь в одну точку...

Отец облегченно вздохнул, заметив на другой стороне площади человека, ведущего под узды лошадь:

– Мил человек, торговать ты или как? Что-то народу не видать, в другом месте, что ль, ярманьга-то?

Мужик сплюнул, смачно выругался:

– Какая, к дьяволу, ярманьга?! Ты слепой, что ль? Службу в церкви вон и то запретили... Не шарили еще у тебя, дядя, в сусеках, коли ты такой смелый, торговать собрался.

Отец, нахмурясь, стегнул жеребца и, обогнув собор, выехал на окраинную широкую улицу.

Маша знала, куда он направился, – к дяде Филимону Савину, своему знакомцу. Филимон жил в самом конце улицы. Чем ближе подъезжали к его подворью, тем чаще обгоняли появлявшихся тут и там на пустынной улице людей. Брели они, озираясь, будто искали у попутчиков поддержки и, сбившись в небольшую кучку, тихо и сдержанно о чем-то переговаривались меж собой. Вскоре уже собра-

лась и неторопливо двигалась по улице приличная толпа непразднично одетых мирян с пасмурными лицами.

Голоса становились громче, уверенней:

– Куда вы, куда?

– Фильку кулачить будут, посмотрим.

– Да какой он тебе кулак?

– Все равно толстосум! – пьяно заверещал красноносый мужичок в рваном зипунишке, придерживаясь за плетень. – Мы вас всех, толстозадых, вытрясем, мы – беднота! – мужичок вдарил кулачишком себе в грудь. – С Ковкой Булиным всех вас на чистую воду выведем! Все ваше барахлишко и скотину экс... экс... – подавился он словом.

– Кто это мы-то? – ворчали в толпе, полукругом обступившей подворье Савиных. – Вроде тебя такие пьянчуги да голь перекатная? Вы б своим горбом добро нажили! На чужое-то полдела рот разевать.

– Это что за пропаганда на руку классовому врагу? – громко спросил, обернувшись к толпе, стоящий у ворот высокий молодой мужчина в шинели и в задубелой на морозце кожаной фуражке. – Филимон Савин был предупрежден. Хлебные излишки к сроку не сдал, деньги взамен не внес. Посему имущество кулака Савина, как злостного саботажника и классового врага, подлежит конфискации и распродаже, а сам он с семьей – высылке.

Отец Маши, завернув лошадь в заулочок, с трудом пробирался, тесня людей, к высоким тесовым воротам. Дочь, прячась за его широкой спиной, неотступно следовала за ним.

– Разве Филя кулак? – бормотал отец, словно вопрошая. – Ведь

он все своими руками... А что скотины у него две коровы да лошадь, так робят полон дом. У меня вон и то скотины больше...

– Эх, дядя! – обернулся к нему какой-то мужик. – Погодь, дойдет очередь и до тебя. Такие, как Никола Булин, ни хрена не оставят, все прахом пустят.

Меж тем председатель Совета Николай Булин зачитал постановление вышедшему из калитки Филимону, теребившему свою широкую бороду так нещадно, будто собираясь вырвать. Булин прошел во двор мимо отстранившегося растерянного хозяина. За ним, устроив в проеме калитки толкотню, ринулись остальные – два милиционера в синих шлемах и активисты из местной бедноты.

Створки ворот неторопливо разъехались, открыв всеобщему обозрению просторный двор Булина, стоявшего неподвижно посередине активистов, шустро, потараканьи, устремившихся кто к хлеву и амбару, кто по ступенькам крыльца. Через несколько минут из хлева двое мужиков выволокли за намотанную на рога веревку упирающуюся корову. Пьянчужка, что орал недавно у плетня, тащил визжащего поросенка.

– Молодец, Тимоха! Так с ними, с классовыми врагами! – похвалил его Булин.

И Тимоха расцвел подобострастной улыбкой:

– Мы за раз... Рады стараться...

Из дома, сквозь двойные рамы в окнах, доносились плач и завывания как по покойнику, причитания.

На крыльцо четыре запыхавшихся мужика выволокли большой окованный сундук. Булин подошел к ним, откинул крышку и кивнул стоящим подле активистам, дескать, действуйте!

– Все награбленное мироедами должно достаться трудовому народу! – громко и категорично заявил он. – Итак, начинаем распродажу имущества кулака Савина. Подходите, люди добрые, назначайте цену.

Одна из баб-активисток шустро принялась вытаскивать из сундука содержимое – отрезки материи, платки, простыни, бросая их на ступеньки крыльца.

– Посторонись! – отдуваясь, мужики вытащили из дому огромную перину и бухнули ее на снег.

Следом за ними выбрела рассеянно Савиха. Четверо ребятишек, мал мала меньше, цеплялись за мамкину юбку.

– Вот! Пожалуйста в сани, все вам тридцать три удовольствия! – ехидно ухмыляясь, поклонился семейству Булин и обеими руками указал на подогнанные к крыльцу сани.

– А тут что? – он выхватил из рук старшей дочери Савина, девочки на выданье, узелок и растряхнул его. На снег выпали кой-какие тряпки, сверток с едой, красивая цветастая шаль. – Не положено. Брать с собой ничего не положено.

И, наверное, только тут дошел до хнычущей Савихи смысл происходящего.

– Милай, не погуби! – она тяжело бухнулась перед Булиным на колени. – Пожалей детей малых! Помрут же все...

Савиха, обхватив сапоги Булина пухлыми руками, причитала так, что гомонящая толпа у подворья притихла, словно окаменела, и вопли Савихи, витая над людьми, заставив не одно сердце содрогнуться от ужаса и жалости, улетали на другой конец городка.

Булину удалось высвободить ногу из цепких объятий Савихи, и

он с силой пихнул бабу в плечо каблуком сапога.

– Сволочь! Какого ты хрена... – взревел Филимон Савин. До этого он молчал, тупо и, казалось, с безразличием уставившись на творившееся в его собственном доме и дворе. Даже милиционеры, стоявшие по бокам мужика, утратили бдительность и запоздало попытались ухватить Филимона. Он стряхнул их с себя, как щенков, и, подобрав в руки увесистый дрын, тяжело и медленно, будто медведь, вразвалочку двинулся на Булина.

– Встань, дура! – цедил сквозь сжатые зубы Филимон, обращаясь к жене. – Неча у всякого дерьма в ногах валяться. Счас я тя поглажу, душегубца проклятого!

– Я представитель Советской власти! – звонко и испуганно вскричал Булин, пытаясь вытащить из кармана наган. Но револьвер, видать, зацепился барабаном, и Булин, дергая изо всей силы рукоятку, нетерпеливо подпрыгивал. А Филимон с дрыном наперевес приближался... По гладко выбритому лицу Булина разливалась мертвенная бледность. Еще немного, и он бы, наверное, побежал. Но сзади на Филимона внезапно навалился отец Маши и подмял мужика:

– Чего ты, Филя, успокойся! Хуже ж себе и робятам сделаешь. Каждую вошь не пришибешь...

Филимон с натугой крикнул, но сбросить друга с плеч не смог. И, выронив дрын, как-то весь смяк, бессильно опустив длинные жилистые руки вдоль тела. Подбежавшие милиционеры с опаской ухватили их безжизненные плети, принялись было их выкручивать, но отец Маши остановил:

– Полноте, робята! Утих он.

Булин наконец вытащил из кармана наган и удивленно разглядывал его, как диковинную игрушку.

– Постой! – он опомнился и, догнав в воротах отца Маши, хлопнул его по плечу. – Спасибо, друг! Проявил революционную сознательность.

Отец обернулся и смерил Булина с ног до головы тяжелым, исподлобья, взглядом:

– Я вроде б к тебе, душегубцу, в друзья не набивался...

Злоба перекосила лицо Булина, он метнул в спину отцу яростный взгляд, прошептав: «И до тебя доберемся!» И неестественно выпрямившись, подошел к крыльцу, крича на активистов:

– Чего рты поразевали? Составляйте опись имущества. Скотину и дом – колхозу, а остальную утварь – в сельсовет. Там разберемся, что куда...

– И поделим! Промеж себя! Нетяжело! – горько усмехнулся стоявший рядом с Машиным отцом мужик. – Эх ты, дядя! На кого цыкнул... Ковка – мужичонко злопамятный, уже припомнит тебе. Подведет под раскулачивание. Не сам, так других науськает.

– Да откуда он такой взялся? – в сердцах вздохнул отец.

– Селезня, мельника, зятек. Ране в работниках у него был. Вместо работы-то дочку Селезня Глафиру того... соблазнил. Замуж за него, нищетрепа, отдать пришлось. Старик Селезень через то занемог и преставился вскорости. Все хозяйство, значит, старшому сыну осталось, он Глафиру с муженьком скорешенько выставил из дому: неча на печи бока калить, невелики баре. Потом к Ковке-то, когда тот председателем Совета стал, бегал, умолял слезно, чтоб не кулачили. Куды там! Ковка все

евонное хозяйство прахом пустил, самого упек черт те знает куды, а Глафира еще и от брата родного отрекалась: дескать, нет ничего у ней общего с врагом социализма. Теперь Ковке че, козыряет – родного шурина не пожалел...

Маша не могла отвести глаз от саней, где, усадив вокруг себя детей, всхлипывала Савиха. Филимона со связанными за спиной руками посадили в милицейский возок, и забравшийся на передок возница вытянул кнутом лошадь.

– Филя, прощай! – заполошно завопила Савиха, и притихшие было дети вновь громко заплакали.

Немного погодя кобылка потащила неторопко в дорогу и сани. Маша встретила взглядом со средней дочерью Савина Нюркой, своей ровесницей. В расширенных глазах Нюрки, бойкой хохотушки, застыл ужас...

Выгнав скотину из хлева и вывалив из амбара небогатый запас зерна, активисты заканчивали хозяйничать в доме. Составление описи завершалось. Последними принялись за вещи, вытряхнутые из узелка старшей дочери Савиных и валявшиеся в снегу.

Стройная черноглазая женщина с подрумяненными морозцем щеками, сдернув с головы платок и открыв толстую уложенную короной косу, примерила шаль, небрежно встряхнув ее от снега. Взяв руками концы шали и расправив их, женщина, улыбаясь плавной походкой прошла перед Булиным. «Красивая»... – подумала Маша.

– Эва, женушка-то ковкина Глафира какво выпендривается! Чужое уж не терпится примерить! – скорготнул зубами все тот же, стоящий рядом с Машей, мужичонко.

Так и запомнилась Глафира девчонке, не ведавшей, что придется встретиться с нею еще...

– Может, и я доживу, что тоже никому не нужна буду. А? – Мария Николаевна повернулась от окна к сыновьям.

– Ну уж нет! – оторопело вытаращился Иван. – Ты – не она! Не такая... – дудел он в нос угрюмо. – Понять я не могу, с каких рыжиков ты этой... жратву даешь? И каждый день!

– В кого ты такой? – всплеснула руками мать. – Куска хлеба, что ль, немощному человеку жалко?

– Кулак он, – захихикал Федор. – Помещик. С евонными хоромами, да скотобазой, да с Варькиной жадностью совсем башку потеряешь. Зажирел, вот и зажаденел. Будет он тебе старух чужих подкармливать...

Брат зубоскалил бы и дальше, но чуть под стол не нырнул, так рывкнул на него Иван:

– Молчал бы, не вякал, карлик хренов! Завидки, что ли, берут? Работать надо, а не с бабой ребят кропать! Уж больно добренькие вы с матерью стали! А помните? Помните, когда мы с голодухи пухли, она... эта Булиха... – Иван захватал ртом воздух, будто дара речи лишился.

– Ванятка, ведь это все быльем поросло... Да и слава Богу! Чего вспоминать-то... Не в себе уж она, одна жалость, – Мария Николаевна, успокаивая, обеими руками теребила сына за широченную ладонь, пыталась заглянуть ему в глаза.

– Чего вспоминать?! – Иван прятал от матери взгляд. – Нет, мать, не забыть мне про то, вовек не забыть...

...С войны в городок приходили кто как. Один сосед Окатышевых вернулся – полная грудь медалей, другой сосед приехал на тележке с маленькими колесиками, заменяющей теперь ему обе ноги. Вернулся на следующий год после окончания войны и старшина трофейной команды Николай Булин, привез с собою целый воз трофейного барахла.

Мария Окатышева, когда купала в городке старенький приземистый домик, никак не ожидала, что соседями в доме напротив – окна в окна – окажутся Булины. Едва заметила вышедшую на крыльцо черноволосую большеглазую женщину, так и вспомнила, увидела наяву потерянного, с серым лицом Филимона Савина, полные страха глаза его дочери Нюрки, улыбающуюся довольной Глафиру с чужой шалью на плечах...

Немного и лет прошло, а в волосах Булихи появились заметные седые пряди, румяное гладкое лицо потемнело, поизъелось морщинами. Бегала Глафира бойко, повсюду таскала за руку мальчишку – внука. Дочь Булиных, сильно хворавшая еще с той поры, как незадолго до войны ее бросил с «пузом» залетный лейтенантик, иногда выбредала на лавочку у ворот погреться на солнышке, подставив бледное иссохшее лицо с провалившимися глазами его лучам и зябко кутаясь в полы фуфайки.

– Это Бог наказывает Булиных-то! – шептались, кивая в сторону дочери, бабы. – Полютовал Коля вволюшку! Сколь людей свел, душегуб...

Что привез Николай Булин с войны, первое время очень занимало соседей: немало тщательно увязанных кулей сняли с «трехтонки» Булин с шофером. Строились

всякие догадки, любопытствующие приставали к Николаю с расспросами, поначалу издали, а потом и по-наглому, а он лишь хитро усмехался в лохматые усы.

Неожиданно для всех Булин преподнес в подарок школьному учителю, своему бывшему однокласснику по церковно-приходской школе, заграничное охотничье ружье. Учитель, заядлый охотник, не стал утаивать подарок, показывал его всякому, поясняя с гордостью:

– Этот трофей Николай Георгиевич из замка германского графа взял. Смелый человек!

Булин, подарив еще кому-то портсигар, кому-то – подтяжки, начал слыть в городке добродушным чудаком. Стоило с возом безделушек тащиться из Германии, чтоб потом раздать все задаром!

И к шептунам, напоминающим, что Коля – изверг, больше в городке не прислушивались. Ну, сгоняли перед войной в колхозы, так ведь не один Булин в загонщиках ходил. Через это даже увечье заимел – подстерегли мужики на лесной дороге. В тридцать седьмом едва на этап не угодил – жена сестрой «врагу народа» приходится. Только и спасло, что в свое время Коля самолично этого «врага», собственного шурина, «разоблачил». И на фронте Булин, хотя и шел позади наступавших войск, подбирая трофеи, все-таки наехал на «полуторке» на мину и был крепко контужен.

Теперь он, скромный школьный истопник, гулял по улочкам городка, обтянутый линялой защитной гимнастеркой, в галифе и начищенных до блеска сапогах. На груди его посверкивал одинокий кружок медали «За боевые заслуги». С каждым встречным Булин приветливо здоровался, ласково

заглядывая в глаза, обстоятельно выпрашивал о здоровье, жене и детках, о работе. И любой человек, будь он даже в самом дурном расположении духа, смягчался сердцем.

Какой же, к дьяволу, изверг Николай Булин?!

Вскапывать огород, колоть дрова, еще какую работу спроворить по дому Булины нанимали пацанов. Сам Булин, с увечьями да контузией, не работник, дочь тем более, а Глафира ленилась. Пацаны – не взрослые, народ нетребовательный, что подали за труды, то и ладно. Лишь бы что пожевать.

Копать длиннющий и широкий булихин огород подрядилась славная ребячья компания: двое братьев Окатышевых, Иван и Федька, их двоюродник, немногословный, всегда насупленный Серега и подвижный кучерявый Олеха-беженец. Рабочников ветром качает с голодухи – ни дать ни взять скелеты, обтянутые тонкой прозрачной кожей, даже одежонка, заносенное перештопанное тряпье, на них болтается.

Суглинок на Булихином огороде жесткий, лопата в него не лезет, его копать все равно что утоптанную и укатанную дорогу. На первой же грядке ребята выдохлись, попадали кто как. У Ивана в глазах помутилось. Но не успел он очухаться, как уже тряс его за плечо, поглядывая сурово, двоюродник Серега:

– Вставай! Будем дальше копать.

И опять со всей силой давил ногой на лопату Иван, вталкивая ее в неподатливую землю, кряхтя и стиснув зубы, переворачивая пласт.

К концу дня Булиха вынесла работникам по куску черствой лепешки, от которой и хлебным-то

духом не пахло. Вот и вся плата. Когда уходили, едва волоча ноги, Иван оглянулся и увидел, как в подворотне Булин пытается накормить такой же точно лепешкой ленивого толстого пса. Пес, словно из одолжения, обнюхал кусок и презрительно от него отвернулся...

– Не могу! Не пойду! – стонал поутру Ванька, еле шевеля онемевшими руками и ногами, но, поглядев в окно на скорченные фигурки ребят, переходящих улицу, преодолевая себя, вставал и плелся вслед за ними.

Куски лепешки, которые выносила вечером Булиха, становились все скуднее.

– Больно долго возитесь с копкой-то, – пеняла пацанам Глафира. – Я ведь и отказать могу, других работников найду, попроворней.

Пареньки, пропуская мимо ушей ее ворчание, с хрустом разгрызали куски. Булиха насмешливо оглядывала ребят:

– Ишь, как жрут! Истинные собачата!

– Собачата! Эй, собачата из подворотни! – подхватил бабкино словечко выскочивший из дома на крыльцо Гришка по прозвищу Гренлаха, ровесник ребятам, пухленький и розовощекий малый. В прищуренных гришкиных глазах – ехидные задиристые искорки:

– Эй, обормоты, нищета! – Гришка, подпрыгивая на крыльце, повернулся к пацанам спиной и, выставив зад, похлопал по нему ладошкой.

– У-у, гад! – простонал, сжимая кулаки, двоюродник Серега. – Погоди, доберемся!

Олеха-беженец чуть не плакал от обиды: так хотелось влить ехидному сытому Гришке оплеуху!

Однажды вечером, когда ребята, доев скромный ужин, собрались разбрестись по домам, Гришка, крадучись, выбрался на задворки и, держа в руках что-то прикрытое полотенцем, тихонько свистнул. Пацаны тотчас окружили Гришку и, когда он скинул полотенце, обомлели. В гришкиных руках было большое блюдо, а на нем горкой высились... пироги. С подрумянившейся корочкой, еще теплые, во рту так и таяли.

Пока пацаны уписывали пироги за обе щеки, Гришка бормотал смущенно:

– Мне жалко, что ли? Да я всегда вам принесу, у нас в доме пирогов этих завались...

И на другой вечер он снова притащил еды – вместительную миску наваристых щей. Пацаны ели по очереди одной ложкой, ели жадно, но с оглядкой – вчера просто сообразить не успели, с чего это Гришка вдруг добрым стал. И сегодня подозрительно косились на него. А Гришка, довольный, весь сиял, слушая чавканье, но и настороженные взгляды ребят от него не ускользнули.

– Парни! Да я... Мне ведь ничего не жалко, – приложил он руки к груди, глядя на ребят чистыми карими глазами. – Вот слушай, Ванька! Есть у тебя котомка или мешочек? Приходи немного погоды, когда бабка к соседке гулять уйдет. Я вам всем подарочек подарю. Вкусненький...

Во дворе у Окатышевых совещание – идти Ваньке или не идти – растянулось надолго. В конце концов решили: к Гришке не ходить. На всякий случай. Ожидать можно любой пакости. Приняв такое постановление, пацаны разбежались.

Усталые братья завалились спать. Федька сразу же захрапел,

а Ванька беспокойно ворочался с боку на бок. Мало ли чего решили, Гришка-то его звал. И он, соскочив с кровати, на цыпочках пробрался в темный сеник, нащупал там на полке вещмешок.

Гришка и вправду поджидал на крыльце, обрадовался, заулыбался Ваньке:

– Счас, Ваня, счас! На, поддержи! – он протянул Ваньке большой тяжелый ключ от амбарного замка.

Гришка провел Ивана через двор к приземистому, с околочеными железом дверями амбару. Ключ со скрипом провернулся в замке, дверь открылась.

– Заходи, не бойся! – подтолкнул Ваньку в полутьму амбара Гришка. – Где твоя котомка? Насыпай!

На деревянном помосте жалась друг к другу тугими боками объемистые мешки. Гришка распутал завязку у одного из них – и Иван едва успел подсунуть свой вещмешок под хлынувшую ослепительно белую струю.

– Скажи, дед у меня не дурак, а? – бахвалился Гришка. – Ты вот еще это попробуй! – он поднес Ваньке увесистый шмот копченого сала. – И еще погоди...

Гришка выбежал из амбара, оставив ошарашенного Ивана созерцать съестные богатства, каких он в своей жизни никогда не видел.

Изумление Ванькино мало-помалу прошло, он забеспокоился, в чужом темном амбаре ему стало не по себе. Он, кое-как приладив за плечами вещмешок с мукой и зажав под мышкой шмот сала, выглянул из-за двери. Куда же Гришка запропастился? Он шагнул через высокий порог, прикрывая за собой калитку, и вдруг услышал приглушенный гришкин голос:

– Тикай! Тикай!

Иван в недоумении завертел головой, заметил притаившегося в малиннике Гришку с испуганным лицом и увидел бегущую через двор с батоном наперевес бабку Глафиру. Он заметался вдоль высокого забора, безуспешно пытаясь дотянуться до верха, и Булиха успела ожечь его по ногам батоном. От боли Иван взвыл, сумел прошмыгнуть мимо Глафиры и выскочить на улицу. Глафира с необычайной для нее прытью припустила за ним. Ванька бы убежал, но споткнулся и со всего маху грянулся оземь. Тут и настиг его Булихин батог.

– Вор! Ограбил, обокрал! – заполошно завопила Глафира, и звонкие обжигающие удары батога градом посыпались на несчастного Ваньку.

Он не пытался подняться, все равно не смог бы – ноги как подкосило, лишь голову закрывал руками. Сквозь мутную горячую пелену слез он различал расвирепевшее лицо Глафиры: черные бешеные глаза вылезли из орбит, губы скривились в злой торжествующей усмешке.

Ванька напрягся и закричал. Невесть как вывернулся и пришел на помощь Олеха-беженец. Наверное, отцу в «пожарку» ужин нес. Олеха прыгнул сзади на Булиху, вцепился ей в плечи. Она, как кутенка, стряхнула пацана и принялась теперь за него. Но легкий, словно перышко, верткий как угорь, Олеха увертывался от ударов батога и лишь подзадоривал Глафиру:

– Ну, карга! Вдарь! У-у, сука!..

Олеха добавил такое заковыристое ругательство, что Булиха – уж на что была разъярена – застыла в изумлении. Батог, наконец,

смачно припечатал Олеху по макушке, и парень, тоже разъярясь, пошел в наступление. Он вцепился в Булиху, та попыталась отодрать ему уши... Сбежался народ, дерущихся рзняли!..

– Ворюги! – орала Булиха. – Убить вас мало!

– Воров-то около себя бы искала! – сказала одна из женщин осуждающе.

– Сволочь, чуть уши не оторвала! – озабоченно тер свои лопухи Олеха.

Ванька под шум и гвалт отполз в сторонку под забор и, уткнувшись ничком в траву, тихонько плакал.

Прибежала мать и, увидев вывалянного в пыли, распластанного по земле сына, закричала на Булиху, подняв Ваньку и прижав его к себе:

– Ведь чуть не зашибла ты его!

– Вору! Пусть не воруют! – не унималась Булиха, однако к своим воротам попятилась.

Бабы, обступившие плотным кольцом место побоища, теперь не возмущались, а лишь усмехались. Которая-то из них сказала:

– Сами-то, небось, с Колей вволю по чужим закромам полазили да сундуки и амбары у себя добром понабивали. Жаль поделиться-то?

Под общий хохот Булиха плюнула и захлопнула калитку...

Как удалось ему забраться в Булихин амбар, Ванька смолчал. Одно твердил: «Я не вор. Поверьте мне». Вскоре от него отстали, и невдомек всем было, что Иван просто не захотел добряка Гришку подводить, ведь и тому бы, без сомнения, такую же выволочку бабка устроила. Булиха со свирепым лицом, с растрепанными космами – ведьма ведьмой – долго еще потом приходила к Ивану во сне, и

он, опять давясь беспомощным криком, просыпался в холодном поту...

Вышел из заключения брат Глафиры. Седой изможденный старик, он бродил полдня под окнами Булиных. Его, видимо, не пускали хозяева, и он, грозя высохшим кулачком, слабым голосом выкрикивал проклятия.

– Мишка Селезень наследство свое назад требует. На чистую воду грозитя родственничков вывести, – поговаривали соседи. – Николай его самолично раскулачил и в тюрьму посадил. Да и, видать, добришко селезнево себе пригреб!

Селезень остановился у дальней родственницы, которую Булины не признавали. Через некоторое время в этот дом направился прифранченный, при медали, Николай Булин, наверняка собираясь вести переговоры. Родственницу мужики куда-то услали, пожелав остаться наедине для важного разговора...

Вечером из окон дома повалил густой черный дым, вырвались языки пламени. Пожарные успели вытащить из дому два обугленных трупа. Что там произошло, осталось тайной.

Булиха похоронила брата и мужа рядом, положила их под коваными железными крестами. Вскоре и больная дочь на погост перебралась.

Глафира осталась вдвоем с внуком Гришкой.

– Ихний род Бог карает. За великие грехи, – крестясь, вздыхали соседки и поднимали глаза к небу.

...Всю последнюю свою зиму каждое утро обходила Булиха соседей, только в дом Ивана Окатышева не заглядывала. Где ей вы-

носили кусок пирога или вареную картошину, где – баночку какого-нибудь соленья или варенья, а где – просто ломоть хлеба, щедро посыпанный солью. Все догадывались, что у старухи в доме целый склад зачерствевших и заплесневелых съестных припасов – где все куски сшамкать Булихе! – но по-прежнему, отводя в сторону взгляд, хозяйки не отпускали ее с пустыми руками.

Ближе к весне вышла Булихе помощь – поселился у нее квартирант. Олеха Клюев по кличке Беженец, друг детства братьев Окатышевых. Он ушел от жены.

Теперь почаще стал куриться из трубы дымок, прояснились окна: стояли со стекол толстые занавески изморози. Олеха раскидал от ворот снег, будто языком вылизал широкую тропу.

– Шик-блеск ноне будет! Со мной не пропадет! – заверил он собравшихся по такому поводу соседок.

Любопытные разошлись. Похлопав рукавицей об рукавицу и забросив на плечо черенок лопаты, повернул было к калитке и довольный своею работой Олеха, а тут – Иван.

– Никак ты в подживотники заделался! – сменился он с лица.

– Угу! – озорно подмигнул Олеха.

– Да знаешь, кто ты после этого?!

Иван сжал кулаки, и Олеха – мудрая голова – не стал гадать, что может произойти дальше, на всякий случай он захлопнул и запер калитку. В безопасности выпятил язык и за уши себя подергал. Иван, от ярости хрюкнув, шагнул к воротам и провалился по пояс в снег. Олехин дикий хохот, наверное, слышали даже глухие соседи, а

Окатышев, кое-как выбравшись на четвереньках на тропу и поостыв, пригрозил:

– Погоди, попадешься мне, цыган чертов! Предатель!

– Дур-рак! – вороной прокаркал за воротами Олеха. – Сто спасибо мне потом скажешь!

День прошел, за ним еще и еще, а сто раз спасибо неведомо за что Иван Олехе говорить не собирался. При случайной встрече друзья детства, не то что перекинуться словом, даже не здоровались.

Но как бы там все ни было, Булиха перестала обходить по утрам соседей и справляться у каждого о таинственном Гришеньке, о котором многие лишь слышали, а видеть – не видели.

Когда на улице всюю запахло весной, на Булиху нашла блажь: «Ехать куда угодно, лишь бы не топтаться на одном месте». Остановившись возле дома машина какая – подсаживалась с деловым видом старуха к шоферу: поезжай, дескать, милый! Отвечая на недоуменный вопрос водителя: «Куда, бабка, надо?» – Булиха называла городок, где жила. Водитель, понятно, переспрашивал, уточняя адрес. Старуха называла свой. И

трогал было с места шофер, добрая душа, но, скользнув взглядом по номеру дома, возле которого стоял, либо ударялся в крик, либо остороженько и боязливо выпроваживал старуху из кабины. Смотря какой попадался человек.

Булиха, однако, не унывала. Дотемна бродила она по улице, останавливала встречного и поперечного, искала себе попутчика. И невдомек было ошалелому прохожему, что старуха слезно просила проводить ее в прежнюю жизнь, где когда-то была она молодой и здоровой...

Булиху отвезли в богадельню, где она и преставилась.

В городке старуху не поминали ни добрым, ни злым словом, лишь гадали о том, кому ее дом достанется и куда пойдет с бесплатной квартиры Олеха Ключев: к жене ли возвратится или новое пристанище будет искать.

Разговоры о смерти старухи на чужой стороне вскоре и затихли: еще вчера новость старательно передавали из уст в уста, а сегодня уже редко где вспоминали об этом. День по дню и вообще бы забылось, что жила в городке такая-сякая Булиха, будто и не было ее никогда.

Глава вторая

НАСЛЕДНИК

Федор Окатышев заходить в дом к брату опасался вот уже лет тридцать. Конечно, его не вытолкали б взащей, пинков не наподавали, но Федор, когда требовалось ему братца повидать, предпочитал под окнами дома похаживать да посвистывать, авось заметит. Причиной тому была одна история...

Построил Иван дом, да такой, что прохожий люд, заглядысь, на ровном месте спотыкался, и сердце не одного от зависти собой давало. Строиться-то в городке мало кому в охотку, всяк в квартирку, хоть и неражую, норовил залезть. А тут чуть ли не целое имение у Ивана!

Со стороны глядеть да ахать труда большого не требуется. Не

рискованно во всяком случае. Федор же в начале строительства братниного дома травму получил – бревном придавило ногу. В больницу угадал и потом от клюшки не вдруг отделался. К дому брата Федор после того близко не подходил, душу свою ему травить не хотелось. Там работа кипит, а он – руки в брюки – вроде ротозея получается, даром и нога больная.

И все же Федор не удержался. Выждал времечко, когда на стройке затишье наступило, поковылял – любопытно ведь. В двери лезть он то ли постеснялся, то ли еще чего, уцепился за подоконник, подтянулся, чтоб в нутро дома заглянуть. Пол там был покрашен свежей краской.

А тут – Варвара, жена Ивана! Как закричит! Будто не деверь, а бандит отпетый иль по крайней мере вор в дом пробирается. Федора она не узнала, завидев в окне его тощее гузно, посчитала деверя за мальчика-озорника. Едва он, словно подстреленный тетерев, шлепнулся наземь и задал стрекача, Варвара прикусила язычок.

С той поры Федор к брату ни ногой. Иван пытался уладить недоразумение, не раз безуспешно тащил брата за рукав в гости и под пьяную лавочку добился-таки своего – на руках занес Федора в жилище к себе. Но замирения не вышло – вмиг протрезвевший под крики братниной жены Федор вынужден был немедленно ретироваться.

И на квартиру к Федору Иван стал не вхож после того, как однажды, защищая пьяненького братца от беспощадных кулаков разъяренной его супружницы, выволок ту за волосы из дома матери...

В иной воскресный день браташи совместно выбирались в баню.

Федору опять-таки приходилось вызывать брата. У того скотина в хлеву ревет и хрюкает, корма в достатке требует, «плантацию» без догляда не оставишь, всяких дел – только поворачиваться успевай. Закрутится Иван, позабудет данное накануне брату обещание. А у Федора – скромная полоска в огороде у матери. Мать ее обиходит заодно со своим, да гряды с картошкой в поле за городом – туда Федор лишь весной садить да осенью урожай собирать ходит. Вот и все хозяйство.

Очередные сборы в баню начались как обычно: Иван, ворча на супружницу, носился по избе, что-то с грохотом переворачивая, искал белье, мочалку, мыло, а Федор расхаживал за калиткой. И вдруг слабо, придушенно вскрикнул он, будто сдавил его кто. Калитка распахнулась – и во двор ввалился, крепко стиснув обалделого Федора за плечи, грузный седовласый мужчина, облаченный в шикарный костюм. Позади мелкими шажками, подмигивая, подвигался Олеха:

– Че? Не признал? – спросил он у стоявшего оторопело на крыльце Ивана. – Булихин внук... Гриша Гренлаха собственной персоной!

– Обнимемся, друг! – Григорий, отбросив Федора, как цыпленка, раскинув руки, шагнул к Ивану. Иванов банный чемодан раскрылся, белье вывалилось на сырую траву – утром дождик вспрыснул, не пообветрило еще. Варвара выглянула из дверей и увидала такое безобразие:

– Я стирала-гладила, а ты труда моего нисколечко не ценишь! Какого черта... – она осеклась, вытаращась на Гренлаху еще пуще Ивана.

Григорий, выпустив из объятий Окатышева, взял Варвару за

руку и склонился над нею, смешно, трубочкою, вытянув губы. Руки Варвары по локти облепляла мыльная пена, и он малость порастерялся, но тут же нашел выход – манжетом рубашки небрежно смахнул пену и приложился к островку чистой кожи. Чмок-чмок! – смачно разнеслось по двору.

Варвара испуганно отдернула руку, точно обожглась. Еще бы – не увидишь в городке, чтобы мужики женщинам хотя бы руки пожимали, а чтоб целовали... Варвара не королева какая-нибудь, а всего-навсего простая буфетчица из пивного ларька. Диво! Она как села на краешек лавочки у врытого в землю во дворе стола, так и застыла истуканом. Безучастно смотрела на то, как Иван таскал из дома пустые стаканы и закуску, как Олеха Клюев разливал коньячок. Олеху злопамятный Иван так и не обласкал, хотя тот и пытался настойчиво сунуть ему свою «клешню».

Мужики выпили и дружно захрустели огурцами, как кролики. В другой бы раз Варвара такой разгром учинила, что гости вместе с хозяином несказанно радовались бы, если б целы остались. По ней хоть папа римский под окна выпивать приди, все равно бы бедный был. Но молчала Варвара, уставясь прямо перед собой. Лишь глаза нет-нет да и косила украдкой на Гренлаха, когда тот на нее не смотрел.

Гренлаха все же перехватывал эти взгляды и важно надувал щеки. Он то и дело кривил тонкие губы в капризной усмешке, когда Олеха, вспоминая случаи из детства и недосказав об одном, начинал захлеб про другое, хлопал его по плечу, орал на ухо как глухому:

– А помнишь, Гренлаха?!.

Гренлахино терпение скоро лопнуло. Он отодвинулся от Ключева подальше, еще пуще пыжась и сопя, поправил пальцами узел галстука. Ох, и сдавливала же, видно, эта галстучная петля горло, сопрепел мужик, но терпел форсу ради.

– Какой я вам Гренлаха? Я давным-давно Григорий Константинович Булин, и не ниже! – с расстановочной произнес он, но своим непривычным «аканьем» лишь усмешки вызвал: ишь ты, «антеллигент»!

Дутый Гренлахин вид никак не производил на друзей детства желаемого гостем впечатления.

– А чего тебя Гренлахой-то прозвали? Запомятовал я... – с простою душой любопытствовал захмелевший Федор.

– Не помню... – сквозь зубы выдавил тот.

– Ну? – удивился Олеха. – А нашего учителя географии Сан Саныча помнишь? С его ведь слов тебя окрестили! Вот как дело было! – Олеха привстал с места, обращаясь ко всему застолью. – Гришку тогда к карте мира Сан Саныч вытащил. Где, спрашивает, такая-растакая штука Гренландия находится? А Гришка ни в зуб ногой, шарит по карте, будто в потемках у двери ручку щупает. То в Австралию ткнется, то в Кубу. Ждал-ждал Сан Саныч, да нервишки у него, бедного, зашалили. Ветры, кричит, там воют и пусто там, как в твоей, паренек, большущей голове! И Гришка тут сразу сообразил – тык пальцем в самую точку! И пошло потом за ним – Гренлаха да Гренлаха... Остер был на язык старик, насквозь человека видел! Правду говорю?

– Старый дурак был твой Сан Саныч! – мрачно возразил Олехе

Гренлаха. В его глазах заметались злобные искорки.

Он вскочил из-за стола, рванул с шеи галстук – понял, что одной одежкой и форсом мужиков не ошарашишь. Они важных персон – бывших земляков – посolidней и пофартовой знавали. Умок-от вот каков?!

– Видел, говорите? Насквозь? Да ни черта он не видел, старый пенек! Кто я теперь, думаете? – Григорий горделиво ткнул пальцем себе в грудь. – Ну кто?

– Пердун перед пенсией, как и мы!.. Да шучу, шучу! – лукаво подмигнул Олеха. – Директора ты навроде. Весь вечер вчерась мне об этом трекал. Только не врубился я – по какой части?

– По главной ныне – коммерческой! – назидательно заявил Гренлаха и даже задремавшего Федора сердито за плечо потрянул: да как ты смеешь дрыхнуть, такой-рассякой, когда с тобою рядом важная персона пребывает! – Я цену себе знаю! Всем нужный и полезный я человек. Уважаемый! И домок у меня! А в домке... – Гренлаха блаженно прикрыл глаза и так резко развел в стороны руки, что даже пиджак на нем затрещал. – Ковры, гарнитурчики, хрусталь, всякая билиберда, шмоток – хоть выбрасывай. За городом на озере – дача, как поместье. «Вольво» недавно купил, не полюбилось что-то на «мерсе» кататься. Сюда хотел приехать, обнову вам показать, да далековато. Лень баранку крутить! Да-а!.. Сидим, бывает, вечером с женою, она на пианино играет. «Давай-ка, говорю супруге, в театр сходим или в ресторан закатимся! Что дома сидеть?» И покатили... А что? От денег распирает, солить их? – Булин сшибал

стречками невидимые пушинки с рукавов пиджака. – По стране в турпоездках где только не побывал и загранку видел. Так что географию эту в натуре знаю, не то что вы по карте, Сан Саныча отличнички! Наверное, дальше своего городка и носа не высовывали? И пашете, как волы, за какую-то «штуку» несчастную? И в домах у вас, как при царе Горохе!

Гренлахино лицо сияло довольной улыбкой.

– Насквозь видел ваш Сан Саныч? Да ничего он не видел! Так?

Братья Окатышевы растерянно переглядывались. Варвара, приоткрыв рот, теперь уже не стесняясь, во все глаза пялилась на Гренлаху, сияясь представить, как это он под ручку с женою выходит из богатого своего особнячка, садится в «иномарку» и едет в театр. Один Олеха, недоверчиво усмехавшийся, пока Булин расписывал свою жизнь, пробормотал под нос: «Трепло!» – и добавить собрался что-то, но помешали ему.

Во двор забежал мальчуган:

– Дядя Иван, тебя там Василий Иванович зовет! Велел срочно зайти!

Иван, не молвя и слова, вылез из-за стола и торопливо, не попрощавшись с гостями, пошагал со двора.

– Куда это он так рванул? – удивился Гренлаха.

– Э-э! Лучше не говори! – махнул рукой Олеха. Мысли его резко переключились с одного на другое, но запал-то у них прежний остался – ехидство вперемежку со злостью. Это и вложил Олеха в словечко, посланное вдогонку Ивану:

– Прислужник!

АВАРИЯ

Слово больно ожгло Ивану спину, кровь горячо толкнулась в виски. Он, раздувая от ярости ноздри, точно вернулся бы и вlepил Олехе оплеуху, но что-то удержало его... Может быть, Гренлаха? Самодовольный, надутый, нагло развалившийся на скамье за столом? Нет, раздумал Иван возвращаться и, горбясь, побрел к дому, где жил его начальник по работе и тоже друг детства Василий Иванович Налимов.

«Вот и от Олехи дождался... – вздыхал Окагышев. – А окажись Олеха, под старую задницу, тогда бы на моем месте, чего бы, интересно, запел?»

Тогда, с десятков лет назад, Иван, исправно крутивший баранку задрипанного грузовичка в горкомхозе, не знал – огорчаться или радоваться приходу очередного нового начальства.

– Вася Налимов к нам «бугром!» – растерянно сообщил он дома Варваре.

– Это тот самый, директором Дома культуры еще работал? Рояль оттуда спер! – уточнила Варвара.

– Какой рояль? – опешил Иван.

– Какой, какой? Пианину. Барских еще времен. Играть, говорят, Васе больно полюбилось. И до того он доиграл, что из рояля части кой-какие будто бы посыпались. «Списал» твой Налимов рояль и домой уволок. А дома-то вновь рояль у него заиграл... Только, видать, не шибко домочадцам понравилось, как Василий на нем брякает. И загнал его Васенька по сходной цене. А кто-то ушлый до-

нес насчет того куда следует. Налимова из директоров и турнули. Не нынешнее было время... Ловкий мужичок к вам в начальники пролез!

– Вранье все! Люди от зависти языками мелют! – убежденно возразил Иван. – А из Дома культуры он сам ушел. Не до старости песенки петь!

– Погодите, сами с ним не запойте! – усмехнулась Варвара. – Он теперь не рояль какой-то гребаный потащит! Опыт есть.

– Да ты понимаешь, чего городишь?! – Иван захлебнулся от возмущения. – Он честнейший парень. С детства его знаю, как свои пять... Иначе б другом мне не был!

– Что-то друг-то твой отродясь к нам в дом не захаживал. Да и ты к нему тоже, – сощурила глаза Варвара. – И вместе вас нигде не выдывали. Здороваетесь хоть?

– Здороваемся... – Иван маленько смешался, но все же нашел что сказать ехидно поглядывающей на него жене. – Кто я? Работяга простой. А начальнику с работягой принародно ходить в обнимку не положено. Пусть и друзья детства. Вот!

...Пути-дорожки Ивана и Васьки Налимова разминулись после окончания школы-семилетки: Васька укатил в другой город учиться на киномеханика и как в воду канул, Иван подался в «пэ-тэуху» на плотника. Вновь встретиться им довелось, когда уж Иван и в армии отслужил, семьей обзавелся, баранку автомобиля вдосталь накрутил. Столкнулся он нос к носу с Налимовым на мостках возле Дома культуры, уставился

на него обалдело, точь-в-точь как сегодня на Гришку Гренлаху, забормотал пустые слова, тиская мягкую липкую Васькину ладошку в своих руках. Упитанный, румяный, как колобок, Налимов к встрече отнесся равнодушно – Иван понял это, пытаясь заглянуть в его хитро бегающие глазки, даром что на круглом бабьем лице его цвела счастливейшая улыбка. Иван предложил встретиться как-нибудь, посидеть. Но Налимов так шустро рванул прочь на своих коротеньких ножках от Ивана, что тот пошел на попятную:

– Извини, Василий! Некогда и мне, дела-а! – запоздало прокричал он вдогонку убегающему Налимову. – Но увидимся?

Василий Иванович, не оборачиваясь, в знак согласия поспешно закивал...

Когда Налимов принял бразды правления в горкомхозе, Ивану часто приходилось подвозить нового начальника. Всякий раз он искоса разглядывал Василия Ивановича, тщетно пытаясь отыскать в нем хоть что-то оставшееся от прежнего дружка Васьки. И докосился однажды: поздно заметил велосипедиста, выскочившего на дорогу прямо перед бампером машины. Иван резко нажал на тормоза, машину швырнуло в сторону. На краю высокой насыпи она накренилась, и – земля и небо поменялись местами перед глазами Ока-тышева. Как сквозь сон ощутил он встряхнувший все тело удар, слышался звон разбитого стекла и протяжный, по-пороссячи пронзительный и визгливый вопль сидевшего рядом Налимова.

Иван выбрался из помятой кабины, помог выползти из нее Василию Ивановичу и только тут, когда увидел, что вся голова

Налимова залита кровью, как у зарезанного барана, до него дошел смысл происходящего. Ивана мороз по коже продрал. Словно очумелый наблюдал он за тем, как свои «горкомхозовские» мужики, соскочившие с тащащегося позади трактора, заматывали голову скулящего Налимова разодранной на полосы рубахой, потом усаживали Василия Ивановича в тракторную кабину. «Ну, Ваня, хана тебе!» – напоследок крикнул кто-то. Слова пробились к Ивану точно сквозь толстый слой ваты, набитой в уши. Окинув равнодушным взглядом валявшуюся за обочиной вверх колесами машину, он и до дому брел полуглухой. Повалился ничком на лужайку во дворе. Варвара, выйдя на крыльцо, чуть в обморок не упала:

– Батюшки-светы, да он распянешенек!

Голос ее, поначалу тихий и дрожащий, перешел в сплошное шипение – ей-богу, сердитая кошка взъерошилась и жди – вцепится!

Варвара не уставала повторять, что выросла в семье алкоголика и уж мужу-то своему не позволит и капли в рот взять. А коли случилось с Иваном такое, то спуску ему не давала.

– И где глаза мои раньше были! – разорялась она. – Надавало тебя, постылого, на мою головушку!

И неведомо какая бы карусель закрутилась дальше, только в это время распахнулась калитка, и во двор колобком на коротеньких ножках вкатился Налимов. Скинул он шляпу, блеснул плешью, а вокруг плечи-то повязка намотана, белеет свежо.

– Хозяин дома? – Налимов, привстав на цыпочках, запошмыгивал носом-картофелиной, заприноживался, впрямь ищейка, и

задумай бы Окагышев куда-нибудь спрятаться – не вышло бы, по запаху Налимов бы его нашел.

Варвара удивилась: еще вчера величал Иван Налимова другом самолучшим, а сегодня почему-то не обрадовался его неожиданному приходу, не пошевелился даже. Но как бы там все ни было, она засуетилась. То хлопотала возле Налимова, тащила его за рукав в дом, то подбегала к Ивану, яростно трясла того за плечо.

Иван, наконец, сел в траве, принялся мозолить кулаками глаза и продираал их так долго, что Налимов заговорил с подковырочкой:

– Никак, Иван Петрович, ты успел хватануть с устатку? После работки-то?

– Что вы, Василий Иванович! Боже упаси! – защебетала ласточкой Варвара. – Ваня у меня ни капельки себе не позволит, сколько уж лет вместе прожили!

Ох, Варвара! «Причастившегося» Ивана в штыки встретит и потом еще год целый корит-пилит... Но чужой глаз не увидит, чужое ухо не услышит. Варвара сор из избы не выметет. «Что я, психованная?! – рассуждает она. – Как Федькина женка, как другие бабы? На улице орать да по милициям бегать? Не-ет! Пусть народ думает, что мы лучше всех живем! Пусть завидуют! Мне такое любо...»

Иван от комплиментов лишь поморщился, поднялся с лужайки, нахлобучил на голову кепку. За ним встал с лавки Налимов, но Варвара тут как тут. Силой усадила Василия Ивановича обратно, сама подседа рядышком, глазами-то его, сладенького, так бы и скушала:

– Вы б не торопились, Василий Иванович! Такого дорогого гостя да сразу отпустить! Сейчас Ванечка

быстрехонько скотину обрядит, и скоротаем вечерок.

Она метнула в сторону Ивана сердитый взгляд. Мол, экий ты недотепа, не каждый день к тебе начальство в гости ходит, мог бы быть и поуслужливей. Кого попросе Варвара дальше порога в дом не пригласит, а тут ведь важная птица!

– Ой! – жалостливо вздохнула она, обняв за плечи Налимова и почти уткнувшись носом в его повязку на голове. – Аж кровушка сквозь бинт проступила... Где вас так угораздило, Василий Иванович?

Варвара тешила свое любопытство, а Иван, стоя у калитки, взъерился:

– Виноват я, кругом виноват! Но учтите, Василий Иванович! – Иван подбежал к Налимову и грозно затряс пальцем перед его носом. – Резина на колесах ни к черту, лысая совсем... И машина барахло барахлом. Ветерок подует – рассыплется! Так бы разве улетел я за обочину и машину б всмятку? А, что говорить? Сам знаешь, – Иван перешел со своим начальником на «ты». – Веди теперь, я готов!

И он сцепил за спиной руки, гордо запрокинул голову.

– Куда это? – настороженно спросила Варвара.

– Куда, куда? В милицию! Вон, человека немного не угробил. Ответ держать надо.

Варвара взглянула на повязку на налимовской голове и все поняла.

– Да как же так? Что люди-то скажут?... И уладить ничего нельзя? Василий Иванович, миленький, ведь ты еще живой!

Варвара опять склонилась над плешью Налимова, но разогнулась тотчас и шагнула к мужу, к плечу его прижалась.

– А вдруг... заберут тебя, Вань?.. Да вы же друзья детства!

– Эт-то точно, посадят! Как пить дать! – Иван, отстранясь от жены и чувствуя в себе вместо прежнего испуга непонятное злорадство, вызывающе усмехнулся: – Иначе б зачем гражданин потерпевший сюда пожаловал. Дружба дружбой...

– Хватит дурака валять! – Налимов вдруг что есть силы ударил кулаком по скамейке. Его всегда улыбочливое лицо, оказывается, могло принимать самое серьезное, даже злое выражение. – Герой выискался! Волоките его в милицию, ему все равно! Присядь-ка, потолковать надо. И все утрясти. Не зря я пришел.

Налимов кивнул на лавку рядом, но Иван с места не сдвинулся, опешил. Варвара соображала куда проворнее мужа: почти насильно подтащила его к Налимову.

– Так вот, аварии, считай, никакой не было, – продолжил Налимов уже обычным, ласковеньким голоском. – Машина твоя старая, сама по себе развалилась. Спишем – и делов!

Он перехватил растерянный взгляд Окатышева, потрогал голову и рассмеялся.

– Вот черти мужики намотали, – Налимов потянул пальцами узелок повязки и принялся ее разматывать. – Царапина и всего-то, стеклом чуток посекло. И к вам – не сообразил – в таком виде появился. Напугал, небось?

После ухода гостя во дворе у Окатышевых сделалось тихо-тихо. Иван опомнился нескоро:

– Друг-то! Вот что значит настоящий! – облегченно выдохнул он. – А я думал все – сухари суши! Приготовился... Дружба, одно слово. Да я для него теперь все сделаю, чего ни пожелает!

Глава четвертая

ИВАН-ДУРАК

С той поры для Ивана кочевая жизнь началась. Правда, за пределы городка он не выкочевывал надолго, дом свой покидать и разлучаться с Варварой ему не приходилось. Из «шаражки» в «шаражку» перебирался он вслед за Налимовым: разве от друга отстанешь, когда тот доброе дело для тебя сотворил. Иван на добро памятлив, отблагодарить бы ему друга надо, да не знает как.

Налимов занимал очередное директорское креслице или, на худой конец, мягкий стулик. Иван садился крутить баранку наилучшей машины, какая находилась по новому месту работы. Не слу-

жебной легковушки, а грузовика. Если он в полном твоём распоряжении хоть днем, хоть ночью – такому хозяйству, как у Ивана, подспорья лучшего не надо. То одно привезти, то другое... Опять Иван чувствовал себя в долгу перед Налимовым.

Враки все, что человек не может разорваться надвое! Lentяй, тот, верно, не может, а Иван умудрялся!

Налимов в квартире «каменухи» жил, со всеми удобствами. То ли они хозяину приелись, то ли воздух в каменном помещении действовал губительно на его организм, только Налимов больше

предпочитал в доме матери обитать. Тут и нужных людей принять можно, и о жизни с ними за чашечкой кофе потолковать. Не бойся, и что соседи за стенками с ума свихнутся, если доверительная беседа далеко за полночь растянется и в гулянье с песнями и пляской перейдет.

За стенками – не люди с глазами и ушами, а воздух. Да Иван еще на машине «под парами» стоит, ждет, вполголоса проклиная все на свете, когда подойдет время развезить развеселеньких Налимовских гостей по домам. Куда денешься, раз Налимов попросил. Не приказал, а прожурчал, расплываясь в добродушной своей улыбочке: «Ты, Иван Петрович, подсобил бы мне, а?..» И Иван любое горящее дело дома забросит.

Остается Окатышеву бешено гонять по ночным улицам городка, а то ладно бы по ним. В райцентр сломя голову нестись приходится, а порою – и до областного центра. Расстояние до него рукой подать – сорок верст. Будешь тихо плестись, освещаешь. Мчится Иван, ухаб ему не ухаб, и всякий раз от торжествующей злости его аж в дрожь бросает, когда слышит он, как гомонящая наперебой братия чурками деревянными по кузову раскатывается. Потерять никого не потеряешь: брезентовый тент над кузовом натянут. Это хорошо додумался Налимов: чего везешь, не видно. И сенцо постелено опять же по его совету. Не побьются.

Успеет Иван прикорнуть всего на часок к пышущему жаром боку Варвары, а то и еще как прикорнется. И крик, и шум запросто могут быть. Это поначалу Варвара потакала тому, что Иван ровно половину дневного и ночного времени, а то и больше, крутится на

налимовском подворье и избобихаживает его, словно свое, кровное, понимала, видать, в чем тут дело, и сочувствовала даже, но потом... Ну, сделал тебе человек доброе дело – так и всю жизнь за него расплачиваться? «Дом забросил, хозяйство, меня! Налимов тебе дороже...» Варвара сдергивала с муженька одеяло и закручивалась, запеленывалась им глухо, как куколка бабочки. Иван лежал, вытянувшись, поеживаясь от предутреннего холодка в доме. Думал.

«Эт-то ты врешь, что забросил. Не у Федьки – шаром покати. Все у нас есть, цветной телевизор даже. Вечно вам, бабам, мало. Завидовщи! Васька-то Налимов мне вон сколь добра делает – машинешка-то что личная лошадь. Куда хочу, туда и качу! Того, небось, не видишь, Варвара Сановна!» Иван словно бы невзначай поддел коленкой неподвижно лежащий рядом «какон» с женою. Варвара брыкнулась, но, чувствовалось, не столь сердито. «Эх, баба – баба и есть! – отчего-то помягчав, вздохнул шумно и протяжно Иван. – Понимала бы... Да подвернулось бы стоящее дело, чтоб отплатить-то Налимову чинчинарем! На раз – и баста!»

После всякого шума и бою замирение наступает...

– Ты хоть бы отгулов у Налимова попросил, дурачок принципиальный! – растомленная, пробурчала Варвара.

И тут-то она за свое!

У Окатышева вправду принципы. Он с глазами красными, как после недельного запоя, утречком на работу уж минуточка к минуточке придет, не опоздает. Еще не хватало у друга поблажек кланчить!

Извозчичьи заботы, да одни бы – что?! Но еще сколько сил у

Ивана на сторону уходит, еще бы Варваре не «возникать». Дом у старухи Налимихи просторный, но ветхий, ветром студеным насквозь его прохватывает. Дров зимой уйму надо. Ладно, человеческий разум до такой штуковины, как бензопила, додумался, а то повыводи-ка Иван поперечной пилой «разлука ты, разлука», лесовоз за лесовозом осиливая.

Кряжи сокрушал колуном Иван – можно подумать, не человек, а автомат пазгает. Налимов тоже топориком растюкнет пару кряжиков потоньше, но упорно тянет его о смысле жизни пофилософствовать. Да вот беда – не внимает ему Иван, не откликается даже, машет и машет колуном, на минуту не остановится. Стоит и морщится Налимов: непонятно и не по нраву ему такое – за целый день словом не обмолвиться.

Однажды весной смотрел-смотрел Иван на городского ассенизатора и по совместительству конюха, вдруг становившегося на пару недель самым уважаемым и нужным человеком в городке, «любовался», как тот, с мутным взглядом и едва держась на ногах, чиркает и мучает плугом пашню в Налимовском огороде, – и лопнуло терпение у Ивана. Оттолкнул он провонявшего сивушным духом пахаря, поплевав на ладони, ухватился за ручки плуга. Сколь потов слезло тогда с Окатышева, только самому ему ведомо. Но вспахал-таки огород! И без сил рухнул на-земь возле телеги рядышком с конюхом.

Пошло-поехало потом каждую весну: Налимов потчует конюха, рассуждая с ним о ветрах и дождичках, а Иван за кобылой по огороду взапуски бегаёт. Борозда – раз, борозда – два!..

Старика-конюха слеза прошибает: «В тебе, паря, талан гинет! Иди-ко ко мне в напарники! Золотые горы кажну весну огребать станем, в вине утопнем!» Но пойдет ли Иван? Он с огорода Налимихи на свой стремглав умчится. Варвара там муженька поджидает. И будут муж с женою копать огород, вдвое больший, чем налимовский, «под лопатку». Варвара считает, что деньги не резон трясти – конюху все равно платить придется за «амортизацию» лошади, пусть Иван и сам вспашет.

Туго бы приходилось Ивану в Налимовском подворье, кабы не мать хозяина, усохшая, но с крепкими ловкими руками старуха. Налимов, участвуя осенью в уборке урожая, лишь неторопливо расхаживал в огороде вдоль забора, рассуждая о вечном.

– Эко, пузеню распустил, нагинаться невмоготу! – ворчала бабка Налимиха, неприязненно косясь на сына. – Опнемся, Ванятка! И то. Вон он, ровно барин, похаживает, а ты работник у него подневольный.

– Устала, мама? Иди отдохни, полежи немножко. Тебя надо беречь, ты у меня единственная, любимая... – ласково ворковал Налимов и, обняв мать за плечи, потихоньку выпроваживал ее с огорода.

Старуха и вправду устала, и слова сына были ей приятны, но Налимиха – бабка справедливая:

– Ты не изобижай Ванятку-то, роздых ему давай. Где ты ломовища такого, чтоб задаром тебе робил, сыщешь? Дураки перевелись.

– Все люди – братья, мама! – прикрывал за старухой дверь и облегченно вздыхал Налимов. – Сколько раз ей говорил: не сажай этот чертов огород! Картошки и

купить можно, – вид у Налимова был самый удрученный. – Так нет. Она – свое.

– Чего ж земле пустовать? Вон в городе из-за клочка передрасться готовы, – слова старухи насчет дураков задела Окатышева, но он и виду не подал. – А так выгоду хоть какую поимеешь...

– Какая с этого выгода? – поморщился Налимов. – Ты же знаешь, Иван Петрович, много ли мне надо...

Дома Ивана разобрала досада. Словечки-то Налимихи помаячили б в Ивановых мыслях, поторкались бы больно, да потом стерлись. Если б ею одною были сказаны. А то чуть ли не каждый день различал Иван за своей спиной ехидный шепоток:

– Гляди-ка, опять прислужник к Налимову побег!

– Верный пес!

– Сколько ему Налимов за службу-то платит?

– Говорят, задаром прислуживается, по доброй воле.

– Врут! Ищи дурака!

И следом – хихиканье. Оно Ивану колом по затылку. Ладно, хоть мелют по-за глаза, характером Иван терпеливый, опять-таки делает вид, что ничего не слышит. Но нашелся один, прямоком врезал, как кулаком промеж глаз вцепил. Бросовый человечешко-то, Деревянный Вася.

Подобных ему «гансов» – так их почему-то кличут – в любом добром городишке обязательно сыщется. Пивной ларек, попросту «чапок», им дом родной, любая кочегарка – и жена, и дети, и ночлег. Милиция их шибко не притесняет: в вытрезвитель увезешь, так толку, что с голого рубаху сдирать, воровать они вроде не воруют – мужики добровольно им опитки и

объедки отдают, в рыло ни к кому с кулаками не лезут, самим чаще колотушки перепадают.

Возвращался Окатышев из гостей, от тещи. А осень на дворе, улица родимая от грязищи раскисла, ступи шаг в сторону от узенькой, чуть заметной ленточки дощатых мостков – и как в болото засосет, сам, без подмоги, едва ли выберешься. Вдобавок – темень. Идет Иван, настроение у него самое благодушное: с тестем пол-литра «раздавили», и теща – невиданно дело – раздобрилась, блинами накормила. Видит – Деревянный Вася на мостках стоит-пошатывается, рыло к небу задрал, звезды считает. Мосточки узенькие, двое разойдутся, если только обнимутся. Но будет ли Окатышев с Деревянным обниматься? От того псиной разит за версту и мочой, еще черт знает чем. Отстранил Иван Васю брезгливо ладошкой да, видать, от сладких мечтаний об неземной жизни его оторвал. Как заорет Деревянный:

– Прешь – не видишь, холуй Налимовский!

Ох, и осатанел Иван! Сгрёб Васю за ворот, но тот из фуфайки своей высвободился и деру от Ивана в самую середку огромной лужи задал. Заметался Окатышев по ее краю: штиблеты новехонькие, первый раз их надел. Сунься вдогонку за Деревянным и на дне обнову оставишь. Вася, стоя по пояс в воде, разгадал Иваново затруднение, захихикал, дразниться начал:

– Эй, холуй!..

И смелее, и смелее полезли из Деревянного грязные словечки, что слово, с которого вся заварушка завелась, вроде невинного лепета ребенка казаться стало.

– Ну, погоди, ганс! Я тя выкурю! – с яростью прошептал Иван

и, нащупав возле мостков камень, запустил им в Деревянного.

Первый – недолет, второй – перелет. Под мостками целая куча камней обнаружилась, хоть бомбардировку настоящую устраивай. Но Окатышев целил осторожно, вовсе разума не терял, хотя все в нем бурлило и клокотало. Пока летел камень, у Ивана холодела спина – чего доброго, вышибешь остатки мозгов из этой мрази. Пусть и вошь никчемная, но живой человек все-таки. Когда камни начали ложиться точно возле Деревянного и брызги грязи обдали его – заорал, заблажил Вася во всю глотку:

– Помогите! Спасите! Убивают!

В соседних домах разом погас свет, приоткрылись окна. Иван, охолонув, с досадой плюнул себе под ноги и пошагал прочь. Он долго просидел в тот вечер на крыльце своего дома, высмоливая папиросу за папирсой. «Понимали бы вы... Ну, какой я Ваське Налимову прислужник?!» – немо вопрошал Иван и у неизменных шептунов за его спиной, и у Деревянного, и у собственной жены, да и у всего народа в городке. – И тогда, что ли, я Ваське холуем был!..

...Тогда, в первые послевоенные годы, неказистый, маленький домик Марии Окатышевой стал сродни общежитию. Сама Мария с Федей и Ваняткой занимала «большую» комнату в два окна, за дощатой стенкой приютилась сестра ее Анна с сыном Сережкой и недавно вернувшимся из заключения мужем.

За русской печью, занимавшей треть избы, еще оставалась комнатенка в два шага в ширину да три в длину. У прежнего хозяина

дома, сапожника, здесь располагалась мастерская, и до сих пор в комнатенке воняло кислой кожей, а тесанные топором стены почти до потолка были усеяны черными крапинами – засохшими брызгами сапожного вара. Сюда-то и попросились у Марии на постой двое погорельцев, прибредших из дальней деревни, – женщина с исхудалым серым лицом и ее сынишка, ровесник Ивану, бледный, прозрачный до косточек.

Рано поутру все взрослые уходили на работу. Лежащий неподвижно на кровати в закутке за печью новый жилец только в первое утро привлек всеобщее внимание. Едва его мать вышла, все – ребята и взрослые – обступили кровать. Новенький с трудом повернул к ним прозрачное личико с большими испуганными глазами. Все, по-прежнему молча, отошли. Иван слышал, как на улице тихо сказал тетке Анне ее муж дядя Степан:

– Недолго пацан-то наживет... Истает, как сосулька.

– О, Господи! – перекрестилась тетка Анна.

В то утро Иван не бежал со двора следом за ребятами, которыми верховодил шустрый Олеха-беженец, беспощадный ко всяким слабостям, свойственным малолетнему человеку. От него подзатыльник заработать – раз плюнуть. Ребята собирались «тырить» на пропитание горох, дело рискованное, Иван ни за что бы не отцепился от них, даром бы ему и враз вышибающие слезу Олехины щелбаны и подзатыльники. Но тут... Как же это живой человек, пацан, таять будет, будто под солнцем сосуля?!

Пацан лежал, полуприкрыв глаза и выпростав поверх одеяла ручки с ярко-синими жгутиками вен под прозрачной кожей. Иван

долго стоял неподвижно у кровати, с удивлением разглядывая их. Кожа-то вон до чего тонкая и впрямь на глазах тает, как ледок в лужицах поутру!

Об ногу Ивана с голодным урчанием потерлась плешивая одноглазая и бесхвостая кошка, из-под кровати, виляя хвостом, припадая на перебитую лапу, вывалился лохматый пес. До поры до времени живность укрывалась в ухоронках, дабы не попасть под чью-нибудь горячую руку, теперь же потянулась к хозяину. Иван давно бы развел дома целый приют для подобранных им на улице кошек и собак, тащил он их в дом немало, но право жить здесь заслужили только двое: кошка за трехцветную шерсть – к счастью, говорят, и пес, который, невзирая на свою колченовость, отстоял однажды дом от воришек.

Пацан в кровати пошевелился, открыл глаза. Губы его беззвучно задвигались – он силился сказать что-то.

– Пить... – расслышал Иван еле-еле.

«Э-э, паря, да ты совсем слабенький...» Чтобы парень напился, Ивану пришлось рукою придерживать ему голову. А ведь еще вчера на ногах был, хоть и за мамкин подол придерживался. «Что сделать-то бы... – соображал Иван. – Жрать тебе надо и как можно больше. С голодухи все это...»

Сидя рядышком на полу, не отводя от хозяина глаз кошка и пес. Муську Иван подобрал на помойке всю уже облепленную мухами, Шарика тоже вытащил из канавы, с передавленными лапами, и выходил.

– Ты погоди, пацан, таять-то... – Иван легонько похлопал парня по чуть теплой руке.

Мать Ивана работала на кухне в детском саду, мыла посуду. Еще задолго до обеда Федя и Иван крутились под окнами, выходящими в задний двор, обнесенный глухим забором, втягивали жадно ноздрями воздух, сглатывали слюнки. Наконец мать выставляла на подоконник миску с исходящей парком кашей и два одинаковых ломтика хлеба.

Съесть кашу было настоящей задачей. Едва миска оказывалась в руках одного из братьев, как через забор с другой стороны перелетали, словно мячики, мальчишки из соседнего с детсадом дома, голодная орава. Братья устремлялись по лестнице к спасительной двери, ведущей на чердак, и пока один из них торопливо глотал кашу, другой, выставив рогатку, держал под прицелом преследователей. Раздосадованные пацаны отставали от братьев, нехотя перелезали обратно через забор и не подозревали, что браташи доедали паек не полностью, а припрятав в баночке кашки и не дожидаясь хлеба, выносили это с собою за ворота. Там томилась ожиданием заморить червячка двоюродник Серега с Олейхой Клюевым.

– Давай! – заоблизывался нетерпеливо Олежа.

– Не тяни лапки! Нету ничего! – Иван зажал руками спрятанную за пазухой теплую еще банку. – Не дам!

Олежа и Серега оторопело вытаращились на него.

– Там человек с голоду помирает...

– Ах ты жмот! – прорвало Олеху. Он с яростью вцепился в Ивана.

– Еще и врет гад! – сурово поддакнул Серега, собираясь трясти сродственника за шиворот. – Обжора!

Иван, смекнув, что дело туго, вывернулся из олехиных цепких пальцев и упал на живот прямо в пыль. Здесь на дороге, в людном месте, стоит только истошно заорать, и сразу набегут взрослые, не дадут в обиду. Но Олеха разгадал Иванову хитрость – ладонью зажал парню рот. Иван мычал, дрыгал ногами, а Серега тем временем пытался вытащить из-под его живота банку с кашей. Ивану удалось цапнуть зубами Олеху за палец. Тот дико взвыл, запрыгал от боли и в отместку сотворил Ивану под ребра увесистый пинок, ладно что босой был.

– Ты че, опупел?! – вступился за брата Федька, до этого стоявший с приоткрытым от удивления ртом. – Да за это...

Оскобленная родная кровь запоигрывала в старшем Окатышеве, он стиснул кулачки... Олеха просто-напросто отмахнулся рукою от Федьки, но задел его нос, юшка закапала. Родственная кровушка забила ключом теперь в Серегиных жилах. Олеха после кратковременной, но упорной обороны отступил под тройным перевесом сил.

– Жмоты! Лопнуть чтоб вам, гансы проклятые! Подавиться! – Олехины обиженные выкрики преследовали братьев до дома.

Кашу и хлеб Васька Налимов глотал, не разжевывая, да и много ли было-то! Но зато какая благодарность засветилась в его больших и чистых голубых глазах!

– Хорошее дело! – поскреб пятерней в затылке Серега.

А раз дело хорошее – Серега решительно отказался от своей части «пайки». Через пару дней во двор к Окатышевым прибрел мириться и Олеха, принес полную кепку зеленых стручков гороха,

раздобыть которые стоило немалого риска.

Гороховые поля за городом охранял Пэка по прозвищу Комсомолец. Низкорослый, кривоногий, всю дорогу с мятой харей, с дураковатыми глазами навькат, он по каким-то причинам не был взят в армию и, теперь приставленный сторожем к гороху, гонял от него ребятишек, нещадно выжимая последние силенки из старой клячи и вращая над головой хлесткой ременницей. Ох, беда была тому, кого настигала та ременница! С Пэки потом какой спрос, он при «сполнении комсомольского поручения».

Олеха, видно, сумел обхитрить сторожа, коли пришел цел и невредим, да еще с богатым трофеем. Ведь случалось – прибежали браташи исстеганные и с пустыми руками...

День ото дня Васька Налимов оживал, вскоре забегал ничуть не хуже Ивана, втайне гордившегося. Еще бы, если б не он, Иван, истаял бы Васька! Как пить дать!

Теперь и Васька с не меньшей яростью, чем Иван, рвался в походы с пацанами постарше. Но те младших просто-напросто связывали, не взирая на их просьбы и слезы. И пока припутанные тряпичными жгутами спина к спине Иван и Васька освобождались, старшие уходили далеко: возле пэкиных полей удачу пытаться иль еще куда.

Прежде связанный Иван протестовал против насилия дикими воплями, ревом, катался по полу, а сейчас это выделять было стыдно – со злым пыхтением за его спиной пытался выбраться из пут Васька. Разве можно перед ним слабость свою показывать? Да ни в жизнь! Освободившись, Иван и

Васька, сваясь обессиленными на пол, прижимались друг к другу и хохотали. Леший с ними, со старшими, пусть бродят! Вдвоем – не в одиночку, и у дома поблизости интересных дел уйма найдется...

Осенью демобилизовался из армии Васькин отец. Налимовы перебрались на другую квартиру, потом дом купили. Но по-прежнему «чуть че» – и Ванька мчался Ваське на помощь...

Глава пятая

КОЗИЙ ПРОСПЕКТ

Совсем не стало Окатышеву житья от острых языков, когда его начальник персональное жилище себе строить задумал. «Вот дурак!» – нещадно костерил самого себя Иван, поглядывая, как у бригады каменщиков на строительстве особняка споро подается дело, а Василий Иванович Налимов преспокойненько похаживает около, пузцо свое ладошками поглаживает да работничков с усмешкою подначивает. Гроша ломаного из собственного кармана не выгреб, кирпич на кирпич ни разу не положил, а едва особнячок «под ключ» – с ходу «прихвятизировал». Время точно угадал.

«Остолоп я, остолоп! – опять и опять повторял Окатышев, и непонятно, что больше душило его – обида ли, зависть, а то и просто злость. – Ломался со своим домом, с Варькой недопивали-недоедали, в обносках в будни и в праздники. А тут... Человек пальцем о палец не колонул, а изволь пожалуйста – мало не дворец, и собственный».

Поругивался Иван шепотком себе под нос, а весь материал, что на стройке требуется, подвозил на машинешке исправно. Сваливал наземь – и деру! А ведь поначалу за топор схватился брус тесать: руки по плотницкой работе зачесались. Благой порыв мигом загасили едкие подначки мужиков. Все

работяги знакомые – из одной, Налимовской, шараги. Слова их вроде б и без злобы, но Ивана до пяток прожигают. С кулаками не налепишь на острослова, совсем тогда засмеют. К шептунам-то за спиной Иван привык – в городке о каждом шепчутся добро ли худо, но чтоб прямо в глаза резали – никогда не свыкнешься.

Иван обрадовался даже, когда Налимов, пославший за ним мальчугана, на этот раз попросил доски привезти не на свою новостройку, а к дому матери, забор городить.

– Ты мне помоги сегодня только столбы вкопать, а с остальным я сам управлюсь. Добро?! – мягкой пухлой ладошкой Налимов хлопнул по ладони Ивана.

– Да уж начнем вместе, то и до конца, – ответил Иван.

За дело он взялся с разгоревшейся вдруг охоткою. Все равно баню пришлось бы отложить, раз до нее хватанули коньяку. Федор, небось, лыка не вяжет, но... пуще не хотелось Ивану возвращаться домой. Именно сейчас, когда Гренлаха там за столом сидит, от прущего из него бахвальства едва не лопаюсь, а все ему в рот подобострастно и с завистью заглядывают. Кому как, а Ивану не очень-то хотелось ликовать от встречи.

Нагрузив доски, он неторопливо выехал с «базы» Налимовской

шараги мимо дремавшего в будке сторожа и через несколько минут остановился у дома Налимихи. Старуха копошилась во дворе.

– Вера Васильевна, а где... друг-от?! – Иван, выпрыгнув из кабины, недоуменно оглядывался.

– Черти унесли только что!

Налимиха, оказывается, настраивала лучковую пилу. Рядом лежала стопка прогнивших до трухи досок: старуха принялась разбирать дряхлый забор на дровишки – невелико добро, но чего ж ему пропадать.

– Починать городить тебе велел. Может, к вечеру-то и зайвится.

Ивана аж передернуло от этого «велел».

– Вот барин хренов! – и Окамышев загнул такой матюк, что Налимиха, ничуть не обидясь за сыновнюю честь, даже заулыбалась, понимающе качнула седою головой.

Иван, смутясь, забрался в кабину, сложив руки на «баранке», уткнулся в них подбородком. Забор забором, но между делом хотелось о жизни с Налимовым потолковать. О том, о сем... Что заявился вот невесть откуда Гренлаха, Булихин наследник, прилизанный, гладкий, лощеный, и почувствовал себя Иван рядом с ним неказистым серым сморчком. Слушал Гренлахины рассказы, старался не верить ни единому слову и не раз и не два ловил себя: «Завидуешь!..»

Когда-то давно служил Иван три года в Германии, по родному городишку – не то слово соскучился – извелся. Но когда затихла, истаяла радость возвращения домой, накатился на Ивана первый приступ неведомой болезни – не мог Окамышев места себе в городке найти. Сколько городов, добираясь до дому, проехал, и теперь

вспоминалось о них, и бурлившая там жизнь манила Ивана своей неизведанностью. А что родной городишко? Дыра дырой: гуляют козы с козлятками по улочкам, центральная так и зовется – Козий проспект, весной и осенью из дому без сапог – ни-ни! Всех развлечений на пяток тысяч жителей – Дом культуры в стенах обезглавленной и наполовину разрушенной церкви. Отдых для здорового взрослого человека – зеленая лужайка и бутылка водки, а зимой и на природе в собственном огороде не посидишь.

Жизнь в других, разумеется больших, городах вроде сказки Ивану блазилась. И он уехал бы, но Варька с маленьким Вовкой его придержали, а там и болезненный приступ прошел. Год за годом приступы накатывали все реже и реже...

Работяги, вроде Ивана, делились в городке на две группы – те, кто, отпахав смену на работе, вкалывали и дальше, забыв обо всем на свете, потому как глаза их, кроме будущих полтинников, ничего не видели. И другие – те свои досужие часы нещадно топили в винно-водочных изделиях государственного и кустарного производства. Иван прочно вписался в ряды тех, у которых в глазах – полтинники. Он засыпал поздним вечером усталый и разбитый до чертиков в кресле перед телевизором, где на экране мельтешили недоступно отпечатки жизни, о которой Иван мечтал и, бывало, изводился приступами...

Но все мечты в одночасье развеялись, и приступы тоски навсегда прекратились, лишь стоило Окамышеву единственный только раз в Москву выбраться и то по «турмагпутевке-однодневке»: не

успел приехать – уезжай обратно. От одного воспоминания о той поездке Ивана коробило.

...С минуты, как тронулся поезд, и потом всю ночь напролет Иван не отрывал носа от вагонного стекла. Напрасно теребили его за рукава и полы пиджака коллеги по совместной работе, такие же, как и он, туристы на час, настойчиво предлагая Ивану присоединиться к общей трапезе. Куда там! Иван не слышал их и в разгар товарищеского ужина, когда пьяный шум и гам раскачивал весь вагон и кто-то кому-то съездил по морде, Окатышев даже не оглянулся.

Из купе все, кто как, постепенно расползлись, остался лежать на верхней полке плотник Акиня Душкин. С его животом – с перепою ли, с пережору? – что-то приключилось. Душкин издавал нечто, похожее на пушечный гул, потом, не просыпаясь, удовлетворенно прихотывал: «Охо-хо-хо!» Благообразного вида армянин, подсевший на каком-то полустанке, всякий раз дергал Ивана за рукав и, округлив испуганные черные глаза, шептал, постучав пальцем себе по виску:

– Па-аслушай, да-арагой! Ба-альной это чэловек, ба-альной! Снять с поезда его надэ-э!

Иван, наконец, оглянулся. Армянин отшатнулся, выставив перед собой руки:

– Ва-ай! Тоже ба-альной!

И, подхватив свои баулы, опрометью бросился из купе. Иван недоуменно передернул плечами и опять приник к окну. Кромешная тьма за стеклом начала рассеиваться, проклеывалось серенькое непогожее утро, загадочные манящие огни, изредка мелькавшие обочь дороги, поблекли, стали видны самые заурядные деревень-

ки, полустанки. Окатышев сразу заскучал, туда ему не хотелось. Чем там лучше? Но вот скоро Москва, и жизнь совсем другая...

И все-таки въезд в Москву Иван проспал. Его властно тряхнул за плечо Налимов с помятым лицом – работяги и начсостав поначалу «столовались» в разных купе, но потом пошло всеночное братание. Василий Иванович успел, вероятно, пропустить поутру чарочку и был, невзирая на мешки под глазами, даже излишне бодр и деятелен. Он что-то скороговоркой тарыхтел Ивану, таща того за рукав из поезда. Окатышев еще туго соображал, еще не выветрились остатки сладкого сна, а о чем же был сон, Иван не мог вспомнить.

Дальше все закрутилось, завертелось... Туристы, оставив на вокзале вместительные мешки и котомки, уселись в автобус и покатали по улицам столицы. Акиня Душкин вдруг размятукался на весь салон, заспорив с кем-то, где находится магазин, в котором очередь за колбасой выстаивать не надо.

– Да вот же он, пентюх ты... – Акиня обложил «пентюха» ковыристыми словами и, оттолкнув зардевшуюся хрупкую девчонку-экскурсовода, только что увлеченно рассказывавшую про какую-то многоглавую церковушку, метнулся к выходу.

Испуганный мощным Акиным напором – еще дверцы высадит! – водитель резко затормозил. Следом за Душкиным с гвалтом и гомоном вывалили из автобуса остальные «экскурсанты». Иван в растерянности затоптался перед выходом, но брюхо Налимова решительно вытолкнуло его наружу.

– Ты не рви за этим придурком, за мной давай! Со мной наваристой будет! – Налимов опять с властной уверенностью потащил Ивана за собой. Тот успел только расслышать, как водитель автобуса, наверное, утешая экскурсовода, бросил с презрением в сторону «туристов»:

– Деревня, лапти! Что с них...

Акия Душкин, вжав голову в плечи, а вслед за ним все остальные широким клином врезались в непрерывный поток московских жителей и гостей столицы, сталкиваясь с торопливо бегущими и безучастными друг к другу людьми и едва не сбитые с ног, рассосались в толпе бесследно.

Иван бегал неотрывно за своим начальником, выстаивал в магазинах очереди за колбасой, маслом и прочая, прочая, прочая... С баулами в обеих руках втискивался он в маршрутный автобус, прижимаясь к спине Налимова. Если бы не Василий-свет Иванович, закружился бы Иван, заблудился в людской толчее, сгинул бы никчемной песчинкой в огромном городе.

Добравшись до вокзала, где возле кучи рюкзаков восседал сторож, колченогий ассенизатор Федя по прозвищу Твист, они набивали рюкзаки очередной порцией добычи и устремлялись опять в магазины, в очереди. К исходу дня Иван, обходительный и предупредительный в очередях до робости, остервенел совершенно, разъярился, пер напролом, обороняясь от увещеваний отборной руганью. В одном магазине, в мясном отделе, широкорожий кровь с молоком продавец поманил пальцем Ивана и Налимова из очереди:

– Эй, мешочки! Вологодские вы?

– Да-а! А ты кто?

– Узнал! Земляки... – расплылся в улыбке продавец. – Я, значит, смотрю, если мешки – слона запихаешь – и прут, как на буфет, – точно свои! А я здесь еще после армии тормознулся. Предкам – телеграммку, и в родных краях больше не бывал, – разоткровенничался детина. – Сколько уж лет! И как вы там еще живете? – сочувственно вздохнул он, не то притворяясь, не то из правды, и, поглядывая на распертые бока баулов, протянул Ивану завернутый в бумагу окорок.

– А ты что, сам не живал?! – Иван бы точно запустил этим окороком в рожу продавцу за одну только его снисходительно-сожалеющую улыбочку, но Налимов, облизнувшись, ловко выхватил окорок из Ивановых рук и упрятал в свой баул...

В вагон грузились как банда после чересчур удачного налета. Вдосталь натоптавшись на перроне и нахваставшись друг перед другом заготовленными жратвой и тряпками, «экскурсанты» устремились к узкой вагонной двери. Посадка застопорилась – первый из них же застрял в дверном проеме со своим багажом. Налимову с огромным рюкзаком за спиной и с не меньшим на груди пришлось послужить тараном в орущей и матерящейся толпе своих и чужих подчиненных. Иван, сам перегруженный, что есть сил уперся в его наспинный рюкзак – и Налимов, как ледокол, разворотив толпу, вприпрыжку влетел в вагон, выбив того, в дверях застрявшего, как пробку.

Последним к вагону прибыл, вернее его, полубесчувственного, на плечах жена «притрелевала» – экое сокровище! – Акия Душкин, единственный бессеребренник.

Рванув еще утром в мнимый магазин, где колбаса дешевая, Акиня вместо него под шумок окопался в скромной подвальной пивнушке, где и скоротал денек в задушевных беседах с московскими жителями. Неведомо какому чувству внимая, разыскала его женушка – все-таки Москва! Не иначе, крепкая любовь помогла. Впрочем, выяснилось, что Душкин, выбравшись в столицу, всякий раз поднимал в автобусе гам возле одного и того же места. Так что задача поиска его «половине» облегчалась до предела.

Акиню опять-таки закинули на верхнюю полку, и опять понеслось по вагону его «охо-хо-хо!» Иван взобрался на полку напротив, лег ничком, прижал разгоряченное лицо к приятно охлаждающей обшивке да так и не оторвал до самой Вологды. Вновь затевался товарищеский ужин, Окатышева теребили, упрасивали, пытались с полки стащить, но, слава Богу, отстали.

Иван словно оглох. Напряженность, злость от беготни и толкучки в очередях вдруг отпустили, распластанное тело совершенно ослабло, раскисло, как хлебный мякиш, и лишь обида – зареветь в пору! – жгла Ивана. Где она неведомая, загадочная жизнь, на какую хоть одним глазком взглянуть мечталось? По которой он даже приступами мучился. Злые и усталые лица в магазинной толчее, сытые хари продавцов, столпотворение машин и людей среди бетона и стекла... И только-то?

«Не с того конца надо было начинать... – горько подумалось Ивану. – А с какого тогда?» – он не смог ответить.

Больше Окатышев на «турмагпутевки» не зарился, руками и ногами оборонялся, если их ему наваливали. И постарался изо

всех сил, изо дня в день себе в голову вдолбить: вся жизнь кругом одинакова, хоть в столице, хоть в родном городишке люди себе полтинники исправно добывают и ни о чем ином не помышляют, как бы разжиться ими побольше. А что по телевизору покажут, так это сказочки для дурачков.

И плюнув на все сомнения, зажил Иван с такой уверенностью, и покатались стремглав год за годом... Пока Гренлаха – будь он неладен! – откуда-то не вынырнул и зернышко смуты в Иванову душу злодейски не зашвырнул.

...Налимиха уже выковыряла лопатой первую ямку. Кряхтя, подтащила столб, уперла в край ямы его конец, поднатужилась, слясь поставить его стоймя. Иван, очнувшись, выскочил из кабины, подоспел старухе на помощь. Потом, отоптав землю вокруг столба, уже не выпускал из рук черенок лопаты. «Вот вкопаю столбы, и все, шабаш! Как договаривались!» – уверял он себя. Хотя знал, что будет он следом прилаживать к столбам слезы, к ним шить доски – пока самолично не вгонит последний гвоздь в новехонький забор. Налимову только принять работу останется.

«О, Господи, и здесь-то нашел!» Гренлаха вывернул из-за угла и, разгребая штиблетами пыль, неторопливо брел серединой улочки. Рядом с ним мелкими шажками семенял Налимов. Гришка, широко расставляя руки, о чем-то рассказывал Василию Ивановичу, тот кивал, сияя как солнышко. Иван прилаживал прожилину к столбам. Бросил ее, ударив неприбитым концом по ногам, скривился от боли и затоптался на месте – то ли убежать на задворки, пока его не заметили, то ли остаться.

– А-а, Иван... – протянул Налимов с удивлением, будто и не чаял с Окатышевым на родительском подворье встретиться. – Трудимся?

Гренлаха смотрел на Ивана по-настоящему удивленно, без притворства:

– Что ты тут делаешь? Из-за стола убежал... Шабашка, что ли, срочная? Слушай, бросай к черту это недело и айда в ресторанчик! Как, Васенька? – повернулся он к Налимову.

– Да мы не шибко привычные, – потупился тот.

– Я всех угощаю! Ну?!

– А что, можно сходить, – Василий Иванович, отринув скромность, сделался рассудительным. – Даже нужно. Друга детства да не уважить.

– Некогда ведь... – заговорил было Иван, но Налимов уже не терпел возражений.

– Оставь всю эту богадельню на потом и пошли! Я от рыбалки даже отказался!

Никогда еще не приходилось заседать Ивану в городском ресторане, если б трактором «Кировцем» буксировали – и то не заташили б его туда, но тут Иван, поглядев, как Налимов сердито ножкой притопывает, разозлился и решился. А заметив, что Гришка гордо нос задрал, собираясь по улице шествовать, даже подхватил Налимова под руку. «Посмотрим, как ты, гусь залетный, с «шевелюшками» расставаться будешь! – неприязненно всю дорогу до ресторана косился Окатышев на Гренлаху. – Небось, хорохориться-то охотка скоро отпадет!»

Ресторацию в городке строили больше десятка лет, зато сделали по первому разряду. Кабы не мода свадьбы в этом заведении справлять

да не черноволосые студенты-южане из сельхозколледжа, «шабашники» и торгаши, с не менее курчавыми волосами, но с более толстыми кошельками, – зачах бы ресторан, прогорел. Такие, как Иван Окатышев, его не посещали. Для местного жителя иной вертеп имелся – пивнуха, как раз напротив ресторации. Иван, хоть и был нечастым там гостем, но чувствовал себя в пивнухе свободно, своим человеком. Тут и поговорить о заработках можно, и заядлых рыбаков с охотниками послушать, и пивной кружкой по башке схлопотать. Зачем еще тудяге в ресторан тащиться?

Иван, как сел за столик, крытый белоснежной скатертью, так и застыл, словно кол проглотивши, уставясь испуганными глазами в большое зеркало на стене. Вечер еще не наступил, в зале, кроме известной троицы, никого не было. Иван, не то что слово сказать, вилок боялся брякнуть.

Пили наравне, Гренлаха денег не жалел, заказывал. Ивана хмель не брал, зато Налимов с Гришкой скоро наладились. Лобзались, орали на весь зал, так что эхо металось из угла в угол.

– Покурить мне надо, – Иван, опасливо жвав голову в плечи и ступая как можно тише по паркету между рядами столиков, стал прокрадываться к выходу.

Курил он на лестнице недолго, заметив косой взгляд пробежавшей на кухню официантки, торопливо погасил окурочек в ладони. Пробираясь обратно в зал, успел расслышать:

– Я серьезно тебе говорю, Гриша, вполне серьезно. Он мне как верный слуга, холуй, – с безоговорочной убежденностью пьяного громко говорил Налимов. – Сделал я ему однажды пустяк, дельце

мизинца не стоит, и он с той поры мне прислуживает. Вот как! – довольный, заключил он.

– Да-а, мужичок не без странностей! – глубокомысленно изрек Гренлаха. – Все ли у него дома? – захихикал он и со значением понизил голос: – Ты знаешь... Мы с его Варькой в юности по сараям славно сенцо приминали. Мягонькая!.. Не веришь? Точно, не вру! Жаль,

что сейчас не молодые, а то бы не прочь втихую от этого жлоба...

Иван, стоя за портьерой перед входом в зал, живо представил округленные от удивления масляные глазки Налимова и усмешечку на Гренлахиной роже. Вцепившись руками в плотную ткань портьеры, он тихо застонал и рванулся к выходу.

Глава шестая

У ПЕПЕЛУШКИ

Иван, проснувшись, долго не мог понять, где находится. Одно было ясно: лежал он на голом полу, потому как спина затекла и ныла, а рядом шибало в нос из помойного ведра, выворачивало внутренности. Сверху навис закопченный, облепленный слоями черной паутины потолок. Ивану показалось – протяни руку и достанешь до него. Окатышев кое-как сел на полу, оперся ладонью и тотчас брезгливо затряс рукою – она угодила в чей-то растекшийся по половице смачный плевок.

За грязной стеною русской печи звенела посуда, кто-то бормотал невнятно. Иван, преодолевая страшную раскалывающую голову боль, пополз на шумок. На кухоньке, освещенной тусклым светом из крохотного оконца и еще более тусклой лампочкой под потолком, среди всякого хлама ворожил над тазиком Славик Пепелушко. Окатышеву стало ясно, у кого он в гостях...

Потолок вросшей по самые подоконники в землю избушки составлял двухметрового Славика двигаться по кухне скрючившись. Но хозяин жилища не унывал и

приветливо улыбнулся Ивану. Незнакомый со Славиком наверняка бы поперхнулся и остолбенел от его улыбки – потому как дополняли ее огромные, по плоске, студенистые, потусторонние глаза. Глубокие морщины прорезали все узкое личико Славика: и щеки, и низкий лоб. Вдобавок – длинный, с горбиною, нос. Но Славик – ровесник Ивану, был рубаха-парень, недаром к нему частенько заглядывали со всей округи малоимущие любители выпить. У Пепелушки постоянно бродила на печной лежанке четвертная бутылка браги – дьявольской смеси из черт знает чего. После стакана-другого мужики дурели, устраивали пляски с диким криком и топаньем под обшарпанную гармошку хозяина. Бедная избушка ходила ходуном...

Прежде милиция «накрывала» Славика, штрафовала. Заходили двое молодых, хороших, держась за башки: «Выручи! Знакомые люди к тебе послали». И Славка, добрая душа, – бац целую бутылку с печи на стол! Только штрафом его не испугаешь, он уж пуганый. Работал шофером на хлебовозке, развозил хлебушек по окрестным

деревням. А за ворот заложить никогда не отказывался. Гонял, бывало, свою машину адски, хлеб вылетал из высокого короба кузова целыми лотками... Ехал как-то трезвый, задремал за рулем, и пошла хлебовозка за обочину. Рядом со Славиком продавщица сидела. Испугалась, выскочила из кабины, а нет бы оставаться ей на месте. Машина медленно завалилась на бок и железным коробом прихлопнула продавщицу насмерть. Славик, видя такое дело, бросился бежать, сам не ведая куда, закопал в лесу водительское удостоверение и потом трое суток отсиживался в подполье избушки, пока его не нашли и не вытащили. Отмотал он срок, вернулся, за время отлучки стал вдовцом. Кочегарил теперь, в будни бродил весь в копоти, а по воскресеньям посещал баню. Как «белый» человек...

Иван разглядел, что делал над тазиком Славик. Он, слив туда из бутылочек клей «БФ», взбивал гущу. Вытащив черными, как у негра, руками студенистый комок, Славик отжимал его:

– Чичас, поправишь головушку!

Ивана чуть не вырвало. Он не мог вспомнить, как все-таки затесался к Пепелушке. В ресторане вроде б и пили много, но не «разбирало»... Иван припомнил подробности подслушанного разговора, и опять стало муторно на душе. Сволочи же Налимов с Гренлахой! Он задохнулся от гнева. А погоди... Варька-то?! Иван выбежал из избушки как ошпаренный.

Дома Варвары не оказалось. Иван, держась за косяки распахнутой двери, еле отдышался, пот катил с него в три ручья. Он посмотрел на часы: времени около полудня. Варвара на работе. А что ночью было?! Иван подбежал

к кровати, сдернул одеяло, сворошил простыню. Ноздри его чутко раздувались, пытаясь уловить чужой запах.

«Что, я совсем свихнулся?» – одернул себя Иван. Опустившись на кровать, он вновь поднес к глазам часы: на три с лишним часа опоздал на работу. Но перед глазами промелькнула смеющаяся харя Васьки Налимова, ненавистная, и Иван плюнул на все. Он знал, где у Варвары в ухоронке лежит спиртное. Никогда прежде не трогал женину заначку. Оказалось – пара бутылок водки. Спрятав добычу за пазуху, он широкими шагами направился обратно к Славiku. «Катись все к едрене-фене!»

У Пепелушки уже новый гость заседал – Алик Рукосук. Мужики, видать, приняли зелье, приготовленное Славиком, и теперь сидели друг против друга с налитыми кровью глазами. На Ивана и тот и другой подняли столь бессмысленные взоры, что он грешным делом подумал – уж не в дурдоме ли очутился. Но Иваново подношение привело Славика и Алика в чувство.

– В переделки все в какие-то попадаю, – заявил Рукосук, выходя из состояния «анабиоза». – Не везет мне...

А везло ли когда Алику? Он, как и Пепелушко, из детей, эвакуированных в городок в годы войны, не помнящих ни роду, ни племени. У него была такая же, как у Славика, безумная мать, лишь разница в том, что одна ни с того ни с сего кукарекала петухом, а другая грозила встречному и поперечному кулаками. Алик в сотню раз талантливее Славика, дока в радиотехнике, подобного ему спеца в городке не сыскать, но... до первого стакана. Дальше жизнь и судьба

их абсолютно схожи: оба мужика неприкаянные, оба черные кочегары-углеглоты. Единственная разница – Пепелушко в худом, но своем кровном углу живет, а с Рукосук опять все не слава Богу...

Комнатенка у Алика есть – в деревянном коммунальном доме каморка, притулиться можно. Пока Рукосук в очередной раз пребывал в лечебно-трудовом профилактории, комнатенка, запертая на замок, исправно поджидала хозяина. «Подлечившись», Рукосук вернулся, да и при деньгах. У винной лавки любой околачивающийся клялся Алику в верной любви и дружбе – и финансы Рукосука таяли внешним снегом. В каморке разводить застолья соседи не позволили. Пришлось Алику с собутыльниками перебазироваться в подвалы ПТУ.

Деньги иссякли, алкаши разбежались, остался Алик на бобах. Нашлись добрые люди, предложили бедняге: сдай нам свою комнатенку месяца на три – мы тебе деньжонок дадим и бутылку водки впридачу, а пока в подвале училища поночуешь, лето на дворе. Алика, наверное, водка особенно прельстила, и он без колебаний согласился. Лето пролетело, отложила осень, с белыми мухами пришел Алик в свое жилище. А ему – подожди, мол, еще! Алик в праведный крик ударился. Вышвырнутый за ворот на площадку, закрытые двери принялся штурмовать. Увез его наряд милиции. Алик поутру снова попытался пойти на бордаж за свое кровное и опять угодил на казенный ночлег.

Пошел он жалиться в горсовет, даже председателя исполкома за рукав умудрился притащить. Трое детей, мал мала меньше, у квартирантов, на улицу глядя на зиму не выгонишь: законы еще старые

были. Да и Алик махнул рукой – пусть пока ребята подрастут, сам отправился зимовать в подвал училища. Здесь он сантехником заделался. Лафа! Переспит ночь в подвале, свернувшись калачиком на подержанном, с выпирающими ребрами пружин матрасе, на котором семеро умерло. Батарея бочок мужичку пригревает. Много ли человеку для счастья надо?! Работа тут же, шаг шагнуть.

Пытался директор училища к особе Алика снизить, нормальные условия для сна ему создать. Но только одну ноченьку Рукосук блаженствовал на чистых простынях и подушках, укрывался одеялом в ослепительно белом пододеяльнике. К другой ночи всего этого добра и в помине не было – Алик загнал его по дешевке старухам. И все отступились от него, пусть спит как знает.

Ребята уж те подросли, а Алика все равно «прописали» в подвале пожизненно!

– Надоело там жить... Духота, крысы, того гляди, сожрут, камень кругом. Лампочка под потолком светит, как за упокой. Мне к солнышку охота! В комнатенке-то той моей в полдень светло, дух свежий. В окно выглянешь – душа запоет! Народ по улице бежит туда-сюда, птички чирикают... – тосковал теперь Алик.

– А-а, брось! – распрямился Славик и тут же треснулся лысой макушкой в потолок. – О-о-о!

Рукосук для Ивана всю жизнь был вроде придурка, на глаза попадался часто, примелькался наподобие бродячих собак и черных от времени палисадников возле домов. И «гансов», вроде Васи Деревянного. Лишь дважды удостоил Иван Алика вниманием. Раз накануне очередных «выборов», криво

ухмыляясь, долго наблюдал он за Рукосуком: тот выделывал кривыми ногами замысловатые кренделя перед лозунгами, развешанными на стене Дома культуры, и хриплым простуженным голосом сипел:

– Голосуйте... Я голосую и сколько лет, а толку-то? И за тебя, падла! – Алик, подняв взор на ярко освещенные большие окна особнячка «мэра» города, истово погрозил кулаком.

Раскачиваясь, он другой рукой крепко сжимал тесемки сетки с трехлитровой банкой, где на дне булькало пойло. «Шептанник! – подумал Иван. – Только один голос твой им и нужен, а сдохнешь, так и не заметят».

В другой раз Окатышеву потребовалась помощь Рукосука. Забарахлило электрооборудование машины, сам бился, не один механик до ломоты в глазах и в костях пичкался – все без толку. Кто-то присоветовал пригласить Рукосука. Искать Алика долго не надо: Иван только крикнул рано поутру в мрачное, веющее сыростью и плесенью нутро подвала: «Рукосук!» – и тут же Алик откликнулся.

– Бутылку не пожалею, если наладишь! Но после дела! – Иван помнил наказ: для почина ни капли.

Алик хмыкнул, сморщился – не иначе с похмелья трещала голова, и приступил к работе. Через полчаса все было готово. Иван глазам своим не поверил, и будь на месте Рукосука другой человек, наверное, уважал бы его по гроб жизни. Но это Алик. Схватил бутылку, содрал зубами пробку и припал к горлышку, как изможденный путник в пустыне припадает к воде. Потом затараторил, понес окоlesiцу. Иван выволок его за шиворот, как кутенка, за ворота гаража и брезгливо отряхнул ладони...

Разве думал и гадал он тогда, что придется сидеть с Рукосуком бок о бок и пить из одного замызганного стакана. Да ни в жизнь!

Иван снова стал припоминать, как очутился вчера у Славика. Как, как?.. Время позднее было – куда податься, кто пьяному рад и пустит за порог? Так и оказался он перед хижиной Славика. Когда хозяин на его несмелый стук открыл дверь, Иван начал извиняться. Пепелушко, разглядывая его блестящими, как рубли, в потемках глазами, остановил:

– Будь гостем... Ко мне просто так, без горя, не заходят.

...Задумавшегося Ивана уж давненько подталкивали под локти, подсовывая стакан, новоявленные приятели.

– Твоя очередь...

Водка обожгла ему глотку, ненадолго прояснила голову. Иван почувствовал прилив сил и злого веселья.

– Еще будет и на нашей улице праздник! – прохрипел он вполголоса, представив на мгновение рожи Налимова и Гренлахи. Потом все закрутилось... Окатышев потчевался какой-то гадостью, от которой аж глаза лезли на лоб и желудок выворачивало наизнанку.

Избенка вдруг наполнилась людьми в фуражках с красными околышами, Ивана куда-то тащили. Он упирался, брыкался, тыкал кулаками, метя в околыши...

Проснулся Иван под утро в вытрезвителе в чем мать родила, с крепко-накрепко прикрученными жгутами к топчану руками и ногами. Вскоре выпихнутый на улицу, он еще долго топтался возле крыльца, лязгая зубами от утреннего холода. Куда опять идти, податься? А если к брату родному?..

Федора Окамышева в свое время не могли обженить долго. Одни в городке утверждали, что Мария Николаевна никак не могла выбрать своему первенцу и любимцу суженую, все не по нраву приходились ей девки, а сам Федя будто бы дома сидел рохля рохлей и девок боялся пуще огня. Другие же перевертывали все с ног на голову: Феденька до девушек был шибко охоч, но и выделяться перед ними, нос гнуть большой мастак. Даром, что ростику Федя невидного, и девушке иной до плеча ему, баловнику, не дотянуться, а поди ты – влекло к нему девок, как мотыльков на огонь. Лицом – бел, на язык боек, и еще, леший знает, какие качества у него имелись.

И занесло Федора, вероятно, от головокружительного успеха, нежданно-негаданно в пестрый мир морской фауны.

– Ка-амбала! – куражился он дома перед матерью, брезгливо передразнивая очередную свою поклонницу, с которой накануне скоротал вечерок в аллеях городского сада.

– Килька! – девка другая, так и рыба тоже.

Скоро до осьминогов Федор договорился. А мамка сынку ненаглядному поддакивает, дескать, и верно: та ряба, иная – суха, а третья вдобавок и криворотенька.

Федор, когда прогуливался под ручку с которой-нибудь из барышень, обязательно под окнами родимого дома проходил – и у матери мнение раз-раз и готово. Так увлеклась она отбором кандидатуры в невесты старшему сыну, что и смекнула не вдруг: зачем это

однажды под вечер младший Ванька девку Варьку с соседней улицы в дом привел. Глотнули они наскоро чайку и в сенцы в чулан сбежали. Мария Николаевна поморщилась: что тут Варьке надо? Больно к Ивану ластится. Но раздумывать ей не пришлось – в раскрытое окно слышала она голос своего старшенького.

Федор опять вел матери на поглядение очередную сударушку, тянул ее поближе к окнам, но то ли худо старался, то ли девка попалась с норовом – не подходила близко к палисаднику. Сколько ни вглядывалась Мария Николаевна – аж глаза резать стало, ничего, кроме белого пятна платья, в сумерках разглядеть не смогла. Запоздал Федор.

– Федя, Федьк-эй, домой забирайся! Спать пора! – осталось крикнуть ей с досадой.

– Счас, мама!

Послушный сынок Федя. Не проболтается до петухов, не пройдет и получаса, как дома будет... Вот бы Ваньке такому уродиться! А то, прости Господи, олух олухом, и армия нисколечко не исправила. Вернулся из Германии, матери чин-чином подарочек преподнес – платок, и ходила Мария Николаевна по соседям и сыном и подарком довольная, но радость ее вскоре омрачилась. Как-то заглянула она украдкою в Ванькин «дембильский» чемодан и обомлела: девки голопупые ей с картинок лихо заподмигивали. Все нутро чемоданное ими, бесстыжими, оклеено. Беспощадно ободрала картинки Мария Николаевна, в печку их отправила, руки под умывальником

сполоснула вроде б... Да закавыка вышла: не могла она теперь дареным платком голову повязать после такого с ним в чемодане соседства. Хоть убей!

Что там платок! На другой день увидела она – сыновья во дворе в карты лупятся. То бы ладно, но насторожило ее что-то. Федя каждую карту к самым глазам поднесет, прежде чем крыть, рассматривает ее долго, а слюнки так и текут, будто карта медом намазана. Пригляделась и Мария Николаевна, тихонько подойдя к сыновьям. Словно кипятком обожгло ее, когда в руках у Феденьки увидела на картах таких же девок, как и в Ванькином чемодане. Только у тех, чемоданных-то, под пупком хоть тряпицей завешено, а эти раскорячились напоказ в чем мать родила. Вырвала Мария Николаевна у Феди карты, колоду всю со стола смахнула – и полотенцем, как раз на плече висело, Ваньку охаживать! Вот тебе за то, что такие штуки из Германии привез, за то, что брата смущаешь! А Иван зубы скалит, рукой от полотенца прикрывает свою пустую башку и орет еще:

– Федька, карты спасай! А то мамка мой тебе подарок уничтожит!

Феденька спешно под стол нырнул, шарит там руками по траве, картинки эти пакостные спасти намерился. На вот тебе затрещину!

– За что, мама? – Федор в недоумении поднял на мать глаза, поскреб пятерней в вихрах: видать, крепко мамкина сухая ладошка к его затылку приложилась. Но вот догадался, головушку понурил, повинился.

И отмякло сердце матери. Терпит иной раз старшенький сынок несправедливые обиды под горя-

чую руку, и жаль его потом вдвойне. Все из-за Ваньки... Ему-то вон что? Хохоchet, пальцем в Федю тычет, рожи ему корчит. Чего скажи – ни в жизнь не послушается! На сударушку, что присмотрела Мария Николаевна Ивану, он, придя с армейской службы, и внимания не обратил. Даром, что и родители у нее с зажитком, и сама труженица-рукодельница. Федору бы – да на целую голову она его выше.

А Иван, и недели на волюшке не погуляв, с Варькой спутался. Чего хорошего в ней нашел? Отец с матерью у нее то ли скупые, то ли затворники – в люди не ходят, ребят полон дом. Да еще Варька с Гришкой, Булихиным внучком, прежде гуляла, и сказывают, будто бы Булиха их с сеновала не однажды по ночам сгоняла. Гришка едва умотал куда-то, а Варька уж Ване на шею навесилась. Успела на свеженького...

«Кстати, чего они в чуланке-то подельывают? Притихли», – забеспокоилась Мария Николаевна и вышла в сени. Постояла в темноте у дверей чулана, прислушалась... Тихо. «Провожать, наверно, ушел», – решила она и пошла было назад, но на всякий случай толкнула дверь в чулан и включила свет. Варька взвизгнула и села в кровати, прижимая к груди одеяло.

– Полегче ты! – заворчал Иван, пряча от матери глаза. Он потянул на себя с Варьки одеяло, и та опять пронзительно взвизгнула, не сводя с Марии Николаевны испуганных глаз.

«Батюшки-светы! Да они же»... – Мария Николаевна успела заметить красный следок резинки на белоснежном варькином бедре, ненароком выпростанном из-под одеяла. Все в Марии Николаевне оборвалось, ноги сделались как

ватные, и точно бы плюхнулась она на порог, но в затылок своей горячее дыхание Феденьки почувствовала. И словно оперлась на него.

– Мамка, Федор! – Иван, хмурясь и не глядя на мать с братом, натягивал рубаху. – Мы с Варей того... расписаться решили.

Варька жалко заулыбалась, растрепанными космами волос тряхнула – не возражает, значит. До Марии Николаевны смысл сыновних слов доходил туго, она совсем растерялась и не знала уж – раскричаться ли, разревется. И тут – во, спасение! – Федору, уставившемуся обалдело на Варьку, комар в широко раскрытый рот залетел. Феденька заперхал, закашлялся. И Мария Николаевна напустилась на него:

– Ты чего это выпялился-то? А ну-ко давай иди в дом! Я тебе покажу... Ишь, глазища вылупил! Эко диво увидал...

Федя отступал нехотя, упираться начал, как козлик, и Марии Николаевне немалых трудов стоило затолкать сынка в горницу. Замкнув за собой дверь на крючок, она еще долго поносила Федора за его любознательность, но потом опомнилась. «Феденька-то тут при чем? Сейчас я им задам!»

В чулане никого не было. Марию Николаевну силы оставили окончательно, она прислонилась к стене. «Как во сне все...»

Свадьбы широкой не затевали. У свекрови под крылышком Варвара не то что на день, даже на первую брачную ночь не пожелала остаться. Сняли молодожены комнату у свояченицы Окатышевых, одинокой старухи.

Мария Николаевна теперь и вовсе сосредоточилась на главной

своей заботе – выбрать невесту Федору. И вот наконец...

Федор на тракторе зарабатывал хорошо, в свои двадцать восемь лет расщедрился на мотоцикл, ну и решил испытать «лошадиные силы» по деревенским проселкам. В одной деревеньке возле какой-то невзрачной избушки могучий «ижак» споткнулся, заглох, и как ни мучился Федор, раскочегарить мотор ему не удавалось. День летний, жаркий, пот с Феде катит в три ручья, в горло словно песку каленого сыпанули. Поискал парень тоскливым взглядом, где бы водички испить, увидал прямо перед носом аршинными белыми буквами выведенное над дверью хибарки – «Почта». А раз заведение казенное, значит, при нем бачку с водою иметься положено и кружке на цепи. Смекнув так, Федор переступил порог и... Разом забыл он и про жажду, и про жару, и про строптивый свой мотоцикл!

Крохотное нутро хибарки делал пополам невысокий дощатый барьерчик, а за ним, уронив двойной подбородок на грудь и чудом не ваясь со стула, сладко дремала пышнотелая деваха. Не шибко чтоб красавица и не очень юная, лет тридцати с хвостиком, но Федор глаз не мог от нее оторвать.

«Разбудить бы ее...» Парень несмело кашлянул, потом еще раз и третий, но шумное сопение девахи, наполнявшее хибарку, по-прежнему оставалось ровным. Федор принялся хлопать дверью, после каждого хлопка застывая истуканом с глуповатой улыбочкой на лице, но лишь после хлопка десятого, когда дверная скобка осталась в руке парня, деваха приоткрыла один глаз, блестящий и хитрый, воздела полные свои руки, потянулась и с истомою, тоненько

подвывая, зевнула. Федя был сражен наповал и приворожен, как потом оказалось – навек...

– Мама, мамка! – ошалелый влетел он домой. «Ижак» у него с «полтычка» завелся, дорогу до дому Федя даже не заметил. – Нашел я, нашел! Вот счастье привалило! И не какая-нибудь доярка, а начальница почты!

Феденька задрал нос и заходил петухом. С той поры Феденька вечера не пропускал, неся со всех колес в ту деревеньку на свиданку. Муза – так звали его возлюбленную – хоть и ноги у нее колесом, и талия не в один обхват Фединых рук, и лицо широкое, плоское, с узкими прорезями глаз, как у каменного идола, видал Феденька такого на картинке, – окончательно доняла своего ухажера ласковым обхождением. Ластится к Феде, встанет позади него, сидящего на табурете, груди, ровно дыни, на плечи ему положит и льстивые речи нашептывает. На что уж привередливый Федор кавалер, а таял...

Гнилую селедку, которой потчевала его Муза, когда вдобавок еще и винишком приваживала – видно, закуси иной по причине зверского аппетита хозяйки просто не оставалось, – Федор глотал большущими кусками и не морщился. Не замечал, чем его угощают. Мария Николаевна, выждав для приличия время, собралась посмотреть на Музу. Та взяла ее тоже приветливою речью и уходом – от Варьки-то, зайдешь, так одно рюханье услышишь, а не под настроение попадешь, и присест не предложит. В деревне от кого-то услышала Мария Николаевна, что Муза редкая чистюля: с одной тряпочкой и то идет на речку полоскать.

А третье обстоятельство и вовсе решило дело. Феденька на гу-

лянку в городке выходил иногда под «мухой» и обязательно с Пэкой Комсомольцем встречался и царапался: не мог, видать, забыть погони по гороховым полям. Победу одерживал тот, кто меньше накануне выпил. Раз Федя основательно намял Пэке бока, тот не замедлил с мстью. Но когда Федор среди многолюдья в клубе втихаря перерезал веревку, поддерживающую Пэкины штаны, и они сползли, открыв хозяйский зад, не защищенный больше никакой одежкой, – оскорбленный Пэка не стал давать проходу Федору ни пьяному, ни трезвому, хоть нос в город не кажи. В городском саду не постеснялся он и Музы – налетел на Феденьку коршуном. Федя, может быть, задал бы стрекача, он пьяный только герой, но осрамиться перед возлюбленной... Он затоптался в нерешительности и... не заметил, как оказался за широкой спиной Музы.

– А это что за етиборко? Брысь! – стоило лишь фыркнуть Музе на обидчика, того и след простыл.

Разве могла Мария Николаевна после этого не дать благословения на Феденькин с Музой законный брак? Зажили они чин по чину, как все в городке. Свекровь невестку всякими котлеточками, снедью разной потчевала – аппетит у Музы впрямь слонихин, свекровина более чем скромная зарплата упорхнула воробушком. И раз так, и другой. Муза в отдачу – ни копейки, тряпок себе с поллучки накупит, деньги растрясет и опять к свекрови за стол лезет. Мария Николаевна терпела, терпела, но возмутилась однажды – сама-то сидела на хлебе и воде, надоело.

– Мама, я с тобой рассчитаюсь! – клятвенно ударила себя промеж грудей невестка.

Мария Николаевна повздыхала, вынула из заначки последние гроши. Убавь что-нибудь на столе – Феденьке и вовсе ничего не достанется, когда вечером придет он с лесозаготовки голодный и холодный.

В день аванса Муза вдруг укачала к мамаше в деревню, а Феденька явился домой вдрызг пьяный и, завалившись на брачное ложе в мазутной фуфайке и валенках, важно заявил мамке:

– Мы с жаною на фатеру уходим... Раз одной зарплаты моей тебе мало и под Музины деньжата ты подбираешься. Ее кровяные, слезяные...

Мария Николаевна так и села. Потом тревожно бросилась к сынку: все ли с головушкой у ненаглядного ладно? Но Федя уже безмятежно сопел в обе дырки. Мать, морщась от душного перегара, прислушалась к его ровному дыханию и, покачивая головой, не то сердито, не то с облегчением подумала: «Вицей бы тебя по заднице! Налакался! И та хороша, мужа своего одного покинула...»

Феденька выпивал и раньше, но что тут зазорного, коли в меру. За сынком на гулянках Мария Николаевна подсматривала и от напастей вовремя уводила. Теперь поспокойней стало: жена за Федей доглядит. Только что не больно она усердствует. Да и речам неповадным учит: разве б Феденька сам до таких слов допер? Бог с ним, с авансом Музы, как-нибудь проживем! А к утру сынок очухается и повинится...

Утром пришел Иван, нетерпеливо потряс братца за плечо:

– Вставай, тюха-мотюха! Сбирай шмотки, коли перетаскиваться надумал!

За окном тарахтел трактор. Послышался топот в сенцах, дверь

распахнулась, на пороге встал Олеха Клюев, хлупая глазищами, как кукла-мигунья. Федя поднялся с кровати, держась обеими руками за голову и страдальчески морщась, на кровать же и кивнул: выносите. Все добро почти тут. Костюм свадебный еще в шкафу да мотоцикл в сарайке. И тряпок Музиных ворох. Олеха, закатав на кровати постель, шмякнул ее на стол и принялся вытаскивать кровать из дома. Тяжелая, железная, простоявшая на месте много лет, она едва поддавалась.

– Ты что, умом тряхнулся, дьявол чернорожий? – накинулась было на него изумленная такой наглостью Мария Николаевна, но Феденька ласково и осторожно ее придержал.

– Не надо, мама. Мы с бабой и вправду решили перебраться отсюда, я ж говорил тебе вчера. Не мешай...

«Куда? Не пушу!» – вскрикнула бы Мария Николаевна, да слова застряли на языке. Феденька, пряча от матери взгляд, как в малолетстве, случалось, нашкодничав, взвалил постель на плечо и торопливо вышел из дому. «Как хотите... – осталось вздохнуть матери вслед тракторной тележке, куда покидали нехитрый скарб молодых. – Вернетесь ведь завтра». На другой день, и верно, заявила Муза.

– Ой, хоть без меня, без меня перетащились! – затараторила она прямо с порога. – Вся ведь выдумка-то это Федькина! Я уж как не хотела, как отговаривала... – Муза состроила страдальческую рожу, будто слезы вознамерилась пролить. – Не послушал меня. Жить, говорит, держась за мамкин подол, надоело. Зарплату ему жалко тебе отдавать.

Муза строчила, как пулемет, а меж тем придирчиво оглядывала все уголки в доме – не позабыли ли чего в спешке мужики. И заметив штопанный-перештопанный грязный чулок, повертела его перед носом: «Ведь мой!» И запихав в карман, завсхлипывала:

– Ой, мамэ-э, как жить-то будем врозь...

Мария Николаевна в то утро пекла пироги, и чем гуще становился их аромат, тянущийся из печного устья, тем громче и чаще всхлипывала Муза. «Хитра! Ох, хитра!» – мысленно восклицала Мария Николаевна и со злорадством втягивала ноздрями воздух. Пироги подгорали – и леший с ними, гори они синим пламенем! Это были только цветочки, ягодки уж потом пошли...

В ветхой, продуваемой всеми ветрами лачуге, снятой в наем, зима устроила брачному союзу Музы и Феденьки славное испытание. Утром Федя жутким усилием воли отрывался от жаркого Музиного бока и, пока одевался, совершал дикие прыжки по комнате, наполненной ледяным воздухом. Хватанув чайку и завязав в узелок куски черствого хлеба, посыпанные солью, – большего хоть на столе, хоть в кладовке не оказывалось, – он убежал на работу. Муза, к полудню выбравшись из-под вороха телогреек и пальто, отправлялась в магазин и, закупив провиант, неторопливо часа два-три поглощала его, выпуская изо рта клубы пара.

Покончив с трапезой, она забиралась на печную лежанку, заворачивалась в овчинный тулуп и, закуржавевшая, дожидалась хозяйина. «Помру ведь я, замерзну...» – выстукивая зубами дробь, жалобно стонала она, пока вернувшийся

с лесоповала Федя растапливал печь, варил пустыньский супишко, морил червячка скудными объедками от жениной трапезы. Затем он взбирался на печь и сворачивался котеночком на краю лежанки.

Порядок в комнатках пришел в то состояние, при котором черт ногу сломит, а другую вывихнет. Еще и прибираться молодой муж не успевал: сутки не резиновые. Мария Николаевна едва в обморок не упала, когда порог дома впервые переступила. А там уже хватала ртом воздух изумленная сватья, мать Музы:

– Ну и хаос!

Заслышав жалобный стон Музы, раздавшийся из кучи тряпья на печной лежанке, сватья сменила гнев на милость:

– Довели тебя, доченька, до чего довели! Измучили, измордовали... А какая ты у меня прежде красивая да славная была! Знала б я, так разве отдала б тебя за этого недоноска! Все, доченька, забираю я тебя отсюда! Худой тебе попался мужик, ниче об тебе не заботится. Я не допущу, чтоб ты здесь погинула, кровинушка моя. Собирайся домой!

– Да пусть убирается хоть сейчас! – топнула ногой Мария Николаевна и вопросительно взглянула на сына.

Феденька замялся, опустил глазки долу, промямлил, словно комарик пропищал: «Пусть уходит...» И внезапно наступила жуткая тишина. Мамаша с дочерью настороженно переглянулись. Старуха ойкнула и вдруг запела совсем другое:

– Ой! Что и говорю-то я? – лицо ее, только что плывшее праведным гневом, расплылось в умильной виноватой улыбке. – Пара Феденька с Музочкой, пара!

И зачем-то ей в деревню ко мне ехать? Пускай с мужем законным живет-поживает! У нас с муженьком моим тоже по молодости не все ладно было. Направится все, она еще не обвыкла.

Сватья тараторила и тараторила. Вот Муза вторая! «По-орода-а! Такие кого хошь вокруг пальца обведут!» – с неприязнью поежилась Мария Николаевна. В конце произнесенной взхлеб речи сватья перевернула все с ног на голову. Теперь хуже и пакостнее Музы на белом свете никого не было, а Федя есть сущий ангел. Поток лести Федора разморил, он пошатнулся даже. Теща подскочила к нему, крепко обвила его шею руками, чмокнула зятю в щеку и, разжав объятия, сползла на колени на пол.

– Прости меня, старую дуру! И придурочную ту на печи прости!

На печной лежанке стукнуло – то Муза рьяно приложилась лбом к кирпичам и взвыла от боли и досады. А Феденька пыхтел и бледнел, пытаясь удержать от коленопреклонения грузное тело тещи. Сердечко его сладостно екало: как же, теща на коленки перед ним стала. Эх, жалко, не видит никто!

...Муза не забыла муженьку этого проямленного под строгим взглядом матери «пусть уходит», категорически запретила Феде навещать родительский дом, а ошеломленную и потерявшую дар речи свекровь отругала пакостно. Но Феденька заглядывал к матери нелегально, поплакаться когда, пожалиться. Исподоволь Федя визиты участил, и продолжительность их увеличивалась, но до поры, до времени...

На праздник Троицы к матери на пироги пришли Иван с Варварой; задворками, озираясь, пробрался и Федор. Благоверная его

предавалась утренней сладкой дреме: из пушек пали – не разбудишь, но соседи могли нанаушничать.

Закусили гости пирогами, выбрались из дома во двор освежиться. Не успели они разомлеть на жарком солнышке, как с улицы за воротами раздался воинственный клич! То была разъяренная Муза! Лицо ее искажала зловеющая гримаса, нечесаные волосы растрепались, как после пожара, платье одето шиворот-навыворот, на ноге сполз до шиколотки чулок, другой Муза, видимо, позабыла в спешке надеть. Муза поняла, что мирным путем, добровольно ей муженька не выдадут – Анна, сестра свекровушки, погрозила из притвора калитки кулачком:

– Лешачиха!

Разведка закончилась, началась артподготовка. Запущенное Музой увесистое березовое полено с шуршанием разрежало воздух над двором и ударилось об стену дома возле Варвары. Та истошно завопила от испуга. Во дворе возникла паника – все заметались, не ведая куда сунуться. Муза неторопливым шагом победителя двинулась к воротам, толкнула калитку. Но не тут-то было! Из укрытия успели выбежать Мария Николаевна с сестрою, Варвара. Слабенькому запорчику на калитке они не доверились, прижали ее кто рукой, кто плечом. Хмыкнув и смачно сплюнув, Муза пошла на приступ. Разбежавшись от середины улицы, она всей массой хрястнула по калитке. Всех троих как корова языком слизнула. Муза вломилась во двор с низким победным ревом, жажда крови.

Первой опомнилась крестная Анна, двинулась на ворвавшуюся, выставив вперед маленькие сухонькие кулачки, и – боксом, боксом!

– бац Музе прямо под глаз! Муза несколько опешила, но ненадолго – опустила свой почти мужичий кулачище на голову смелой старушки. Свет в глазах Анны помутился, ноги подкосились, и она, даже не охнув, пала наземь...

Иван поначалу созерцал из окна атаку Музы спокойно, посмеиваясь. Федя, сидя рядом с братом, то тряся, как овечий хвостик, то, когда бродивший хмель бухал ему в голову, ненастойчиво рвался образумить женушку. Но стоило событиям перерасти в кулачный бой, Иван сорвался с места и пулей вылетел во двор. Феденька, опять украдкой выглянув в окно и увидев, что «заслон» беспощадно смят, похолодел от страха и, вскрикнув жалобно ушибленным козленочком, сиганул в раскрытое кухонное окно на другой стороне дома. На четвереньках он шустро добежал до зарослей кустов малины, еще немного помелькал меж ними его тощий зад – и спасительные заросли надежно схоронили беглеца.

Иван сражался, как в настоящем бою. Муза с неожиданной силой наддала ему плечом – он еле на ногах удержался. Попытался сгрести ее в охапку и – отскочил прочь со стоном, тряся укушенной рукой. И только когда он ухватил Музу за нечесаную гриву волос, намотал их на кулак, вот тогда Муза подчинилась, покорно пошла следом за калитку.

– Ой, не ушиби бабу, не ушиби бабу! – откуда ни возьмись, запрыгал возле Ивана с Музой Феденька. – Отпусти, слышишь, отпусти! Мы уйдем, уйдем! – молил он.

– Тебя же, хиляка, защищали! – Иван грязно выругался и отпустил Музину гриву.

– Хорош мужик! – плакала, размазывая слезы и пот по лицу,

Муза. – Не мог жену свою оборонить!

Феденька вился около женушки мотыльком, гладил ее по покатым плечам, касался могучих грудей и все норовил чмокнуть свою благоверную в щеку. Муза, наконец, обняла свою мощную рукой Федю за плечики, и, хныча, постанывая, парочка направилась в семейное гнездышко. «Как они друг дружку-то отыскивали!» – недоуменным взглядом провожал их Иван, чувствуя, как тело, руки, ноги отходят от недавнего неистового напряжения и размякают от подступившей слабости...

Бедному Феденьке частенько попадало от Музы на орехи, но вскоре он сообразил, как оборонить себя от беспощадных Музиных пощечин и зуботычин, выяснил, какое у нее слабое место. Муза не боялась ни кулака, ни дрына, но один только блеск металлического предмета повергал ее в паническое бегство. Чем и пользовался подгулявший Феденька:

– Убью! Зарежу! – в иступлении орал он, еще больше хмелея от мимолетной власти, и медленно вытягивал из кармана руку, в которой поблескивал... обыкновенный гвоздь.

Муза прикладывая свои ручки к мужу перестала, мощь их переключила на воспитание подрастающих детей.

Пятеро дочек народилось у Музы с Федором. Одежонку детки дотаскивали друг после друга, так что последней доставались одни залатанные ошметки. Иван всегда старался обойти сторонкой кучку оборванных грязных племянниц. Было стыдно подходить к ним, стоило лишь представить ему свое чадо, разодетое во что душа ни пожелает.

По утрам Муза, размахивая здоровенной вицей, разгоняла потомство по школам и детсадикам. Отроковицы без всяких воплей и капризов сосредоточенно, изо всех сил работали ножками, лишь бы поскорее укрыться за спасительными дверями учреждений и увернуться от обжигающей мамкиной вицы. Муза поносила их разными заковыристыми и пакостными словами, страстно желая им провалиться в тартарары.

Заниматься трудом праведным Муза предпочитала возле пищеблоков, раскусив, что самая дефицитная профессия здесь – кухонная рабочая. Это, так сказать, «фронт», и дальше его посылать некуда. Придя с работы, объевшаяся до икоты Муза, поскидав с себя шмотки, голышом валилась на пол и блаженствовала. Дочурки возились возле нее, как поросята возле свиньи. Феденька варил деткам каши, супики, кормил, потом занимался стиркой. В тазах одежда мокла месяцами, распространяя зловонный дух.

Иван поначалу не мог понять, почему мать у Федьки в гостях пропадала постоянно, дня не проходило, чтобы не навестила, а к нему если второй раз за месяц заходила – то на удивление. Уж вроде бы потчевал мать Иван, ничего не жалея. Позднее, разглядев страдальческую улыбку, появляющуюся на лице брата при встрече с матерью, Иван все понял. Федька – с бледной кожей, с порядочной плешью, телом – одни кожа да кости, был ни дать ни взять узник, только что освобожденный из рудников. Вдобавок Федор часто заходил в тяжком кашле: казалось, и внутренности-то все вывернутся наружу. Отбредавшись, Федор опять улыбался виновато и беззащитно...

Ивану стоять рядом с братом в такие моменты становилось невмоготу. Он отходил в сторону, как и при виде племянниц, старательно втягивал отросшее в последние годы пуздо, упорно рвавшее брючную ремень. Ясно, почему мать тянулась к старшему сыну.

...Теперь вытуренный поутру из вытрезвиловки Иван шел к брату, и хотелось ему быть с ним на равных.

Стоило Ивану открыть дверь, как встретили его стоялый затхлый дух гниющего белья и звуки приторно-ласкового голоса Музы, доносившиеся из-за перегородки:

– Доченьки, милые, замените старенькую больную вашу маму! Сбегайте, помойте пол в сторожке! Отец-от ваш гниляк, лентяй, забулдыга... Ну чего расселся, чего расселся?!

За стенкой в ответ слышался чахоточный кашель Феди, тянуло табачным дымком. Иван представил, как Федор сидит на корточках, вжавшись в уголок, и забито взирает на супружницу. Брательник походил на старого больного искалеченного пса, который, страшась грядущей беспомощности, покорно сносит всякую придурь хозяйки.

Муза опять переключилась на девок:

– Доченьки, дорогие мои, я из халтуры вам денежек дам!

– Да, дашь! Держи карман шире! – заворчали те в ответ. – Опять обдуришь.

Стало тихо. И как прорвалось! Точно лавина с гор:

– Ах вы, такие-сякие! – начала поливать почем зря своих чад Муза. – Дармоедки, недоноски, сучки!

Две девки, видать, самые младшие, но уже немало перезрелые, в наспех натянутых платьях, рдея щеками и размазывая слезы, теньями прошмыгнули мимо Ивана на улицу. «Как только Федька в таком аду живет!» – подумал Иван и зябко передернул плечами. Муза выплыла ему навстречу, злобно надутые, как у хомяка, ее щеки разом опали, глазки хитро запоблескивали.

– Эй, гнилой! К тебе брат пришел! – и тут же она залебезила. – Иван Петрович, родной! Как здоровьишко твое, как с Варварушкой поживаете?

Иван, не отвечая, с каменным выражением лица прошел в комнату.

Так и представилось ему, как давненько уже, когда он еще строить свой дом начинал, потребовалось ему несколько бревен. Муза и Федька тогда у матери еще жили. Федя привез возище дров, тут и «деловые» бревна попадались. Откатал хорошие лесины в сторонку; приглянулись они Ивану. С братом сговориться в ту пору было парой пустяков. И уж почти весь нужный лес заворотили братья в тракторные сани, как проснувшаяся в доме Муза ненароком выглянула в окошко. Что было дальше, Иван долго потом вспоминал с содроганием! «Сгружай, леший, лес! Сами строиться будем! – выбежав из дому, заорала как бешеная Муза и влепила Феденьке крепкую зуботычину. – Олух, пентюх недоделанный!»

Избы Федя с Музой не построили – это кому бы другому! Бревна, провалявшись на земле несколько лет, сгнили, даже на дрова мало погодились. А Иван понял – Муза из тех людей, что ближнему добра отродясь не пожелают...

Федя встретил сейчас брата свою светлой улыбкой мученика, но окинув Ивана пытливым взором, неожиданно захорохорился, петушиную грудь тщась выгнуть колесом, и заговорил громко, вроде б как покровительственно тыча братца кулачком под бок.

«Да он на целую башку выше меня себя ставит!» – внезапно подумалось Ивану. Он скосил глаза на стоявшее в простенке между окнами старенькое трюмо и разглядел свое отражение. Зеленоватое стекло показывало еще хуже, чем есть на самом деле, – глаза ввалились, щеки и подбородок облепила дикая поросль щетины. Лицо было черным, страшным. Рукава у пиджака оторвались, болтаясь на последних нитках. И брюки в каких-то пятнах, а рубашка на груди вообще истерзана в клочья. С гудящей большой головой, поминутно одолевая противную слабость во всем теле, Иван и думать не думал, как он выглядит.

«О-о! Как самый последний алкаш! «Синяк» хуже Деревяного!» То-то нынче Федька приободрился! И на старуху, дескать, бывает проруха! Все завидовал, завидовал младшему братцу, и тут – на тебе! – заявился он, избитый, помятый, неприкаянный.

Иван следил краем глаза за Федором. «Ишь ты, черт горбатый, заторжествовал! Радуйся теперь, ликуй, нищетреп гребаный! Гляди, какой я!» – все пуще и пуще раздухарялся Иван. И понимал, что быть ему на равных с братом уж никак не получится, до гробовой доски. И он повернулся бы, ушел, пытаясь унять рвущуюся наружу злость, но Федор встал на пороге кухни с большой кастрюлей в руках, из которой пряно шибало в нос хлебным парным духом. Иван,

почувствовав, как противно запосасывало под ложечкой, а виски еще больнее заломило, остался: «Хрен с ним! Дерну стакашек пива – все легче будет! Пусть они с Музой радуются да ликуют! Пока...»

Муза не разоралась на самоуправство мужа, не то чтобы Варвара, сама с удовольствием долбанула пару кружек браги и опять хитрющими своими глазками стала рассматривать Ивана.

Федькина супружница так оплыла жиром, что даже до пенсии доработать не решилась. Из посудомоек в детсадовской столовке ее согнали за неуживчивость характера. «Чтоб родить тебе урода!» – кричала она досадившей ей беременной заведующей. Попробовала еще Муза подвизаться почтальоном, но увы... Это достойное дело потерпело полный крах. За день новоиспеченная почтальонша не успевала обойти и половины участка. Вечером Федор, взвалив на горб сумку с газетами, продолжал обход. Но и его посильная помощь оказалась ни к чему. Однажды женушка шмякнула об пол перед ним почтовую суму и заявила:

– И с утра броди сам, коли сможешь! Я на другую работу хочу!

Федор не стал перечить. Устроиться на новую работу Муза пробовала не торопясь, за год посетила два-три места.

– У вас тут увольняют, если опаздывать начнешь или прогуляешь? – интересовалась она и пожимала плечами: – Чего тогда и устраиваться? Все равно выгонят...

Федор, напрягая последние силенки и оскалась от натуги, полуголодный и в рванье, теперь подрабатывая и на пенсии, тянул, как бурлак, громоздкую семейную баржу. Иван тоже с молодости не отлынивал тянуть эту ляжку, но

одно другому, видно, рознь... Будешь тут, на месте Федьки, и на родного брата коситься и злорадствовать, если тот споткнется!

Такие мысли таил Иван. Сидел он за столом набычась, опорожня кружку за кружкой. Молчал в ответ на расспросы Музы, утивные и колкие одновременно. И Муза вскоре потеряла к деверю всякий интерес, а на обычное суровое молчание мужниной родни она не обижалась, непрерывная ее одинокая трескотня вдруг застопорилась. Муза, оперевшись локтем о столешницу, зажав в руке недопитую кружку, уронила на грудь свой многоэтажный подбородок и тоненько засопела с блаженной улыбкой на физиономии.

Братья теперь как бы остались один на один. Федор, уже изрядно запьяневший, отвалился на спинку стула, колоче и бесцеремонно разглядывал Ивана. По сморщенному личику его блуждала нехорошая усмешка. Если, встречая нежданного гостя, Федор пытался ее как-то замаскировать под бравыми выкриками и натужным хохотом, то сейчас она выплыла наружу. И была то усмешка не жалкого завистника чужой удаче, как прежде, а считай что победителя, не меньше.

«Чего он молчит? Лучше бы уж крыл на чем свет стоит! – соображал Иван. – Как два врага сидим...»

...Ивану вдруг вспомнилось давнее-давнее, из детства: заваленный снегом лес, выбившаяся из сил мать, тащащая за собой на чунках вязанку дров. У матери было сосредоточенное и отрешенное лицо, когда она изредка оглядывалась на сыновей, подталкивающих воз сзади.

Впереди узким проломом в сплошной сумрачной стене леса засветилась прогалина, и мать, как могла, ускорила шаги. Высокие снежные заносы, еще не размятые полозьями саней, то и дело преграждали дорогу. Мать сгибалась в дугу, впиваясь руками в перекинутую через плечо и натягивающуюся струной веревку, привязанную к передку чунок. Братъя, выталкивая из снега застрявший воз, сами чуть не по уши тонули в сугробе.

Ванька потерял под ногами опору, закатный бледно-розовый свет в далекой прогалине качнулся и погас. Парня обступила впившаяся тысячами маленьких колючих жал в лицо темень. Он хотел закричать, но горло сжало спазмой – вместо крика выдавился никому не слышимый писк. Ванька судорожно забарахтал руками и ногами, наконец, перед глазами вновь заблестел свет.

Парень соскользнул в глубокую, незаметную под снегом яму обочь дороги... Мать и Федька уже отошли порядочно и не оглядывались. Ванька вновь попытался кричать, и опять с его губ слетел тот же беспомощный писк. Хотел выбраться на дорожную твердь – и лишь снег проседал под руками, а сам Ванька не мог сдвинуться с места. Федька с матерью уходили все дальше... С набитым снегом

ртом Ванька с ужасом чувствовал, как его оставляют силешки, а мороз еще круче забирается жесткими костяными пальцами под хуленькое пальтишко...

Откуда-то, словно сквозь плотный толстый слой ваты, донесся, пробивая черную дрему обморока, Федькин голос:

– Что с тобой? Да очнись, очнись! – Федя нещадно лупил Ваньку по щекам. – Братик дорогой, ну хватит, просыпайся! Мамка, Ваньке худо!

Иван открыл глаза и увидел склонившееся над ним озабоченное испуганное лицо брата.

– Живой! – обрадовался Федька. – Счас мы с тобой!

Он то растирал Ваньке щеки, то, подхватив его под мышки, пытался тащить по дороге вслед за матерью. Ивану хотелось улыбнуться, но не получалось улыбки на застывшем лице. Он тогда начал привставать, опираясь об заботливо подставленное плечо брата, встал на ноги и все же улыбнулся, счастливый от того, что не остался на веки-вечные в этом хмуром лесу, что есть у него родной брат, не покинувший его в беде, и мать, спешившая со всех ног к своим сыновьям...

– Брат! С чего ж мы с тобою недругами-то стали?

Глава восьмая

МАТЬ

На старух на Старой улице словно мор в этот год нашел. После Глафиры Булихи уже три ее соседки, одна за другой, отправились в иной мир. Безропотно сложив на груди натруженные

руки, отходили старушки тихо. Их низенькие, вросшие в землю по самые окна дома наполняла вдруг на пару дней ватага невесть откуда налетевших отпрысков с натертыми докрасна глазами. И едва

отвозили прародительницу на погост, изба оглашалась то тонким пронзительным бабьим плачем, который тут же тонул в гомоне подвыпивших мужиков, то гомон этот пробивал заполошный хохот какого-нибудь перепившегося поминальщика – и теперь из окон дома разносилось по улице дружное осуждающее охальника кышканье остальных, точно разгоняли стадо строптивых гусей. Потом, в потемках, где-то на задворках тянули в несколько нестройных голосов заунывную песню, бывало, и гармошка пиликала.

И все. Пустел на следующее утро дом, пустел навсегда. Ребятишки, шалости ради, вышибали камушками стекла из рам, и безжизненно пялились дома пустыми черными глазницами на прохожих, дожидаясь своего последнего часа – быть развороченными бульдозером и сгореть в топке кочегарки городской бани. На местах, где стояли они, вымахивал за лето бурьян в человеческий рост...

Налимиха вставала с петухами. В то утро она поковырялась на грядках в огороде, потом принесла с колодца ведра воды, отдохнув, принялась перекладывать поваленную ветром поленницу дров, да так, наклоняясь за которым-то по счету поленом, не смогла разогнуть спину, охнула и ткнулась ничком в утопанную до асфальтовой тверди землю двора.

Налимов забарабанил в дверь дома Марии Окатышевой что есть силы и, едва перескочив порог, затопал ногами:

– Иван где?! – тараща глаза по углам горницы, заблажил он не своим голосом, так что еще не проснувшегося Окатышева с дивана подбросило.

– Иван Петрович, горе-то какое... Матушка моя, понимаешь? Все, нету ее больше, – Налимов закрыл лицо руками, плечи его затряслись. Потом он отнял руки от лица и как бы с удивлением принялся рассматривать капельки влаги на ладонях. – Помоги мне, Иван! – не поднимая глаз, заговорил он прерывисто, сипло. – Тяжко мне... Не знаю, куда и сунуться.

– О, Господи, все там будем, да только в разное время! – перекрестилась со вздохом Мария Николаевна и засобиралась, засуетилась. Куда-то подевался и долго не отыскивался платок. Наконец он нашелся, так опять же сношенные-переносные ботинки запропастились. Мария Николаевна, ворча, отыскала и их и теперь долго не могла сунуть в них ноги. Наклониться и поправить упрямо опрокидывающийся на бок ботинок ей мешала застарелая ломота в пояснице. Мария Николаевна еще вдоволь повозилась с непослушной обувкой, поохала, постонала. Собравшись, сказала с порога:

– Я... туда пошла. Обиходить все надо чередом. Налимова-то женщина безвредная, царствие ей небесное. Ты, Ваня, с Васильем Ивановичем посиди, поговори, горе у человека...

А о чем было говорить? Случись такое еще бы неделю назад, Иван бы обязательно поискал слова сочувствия, утешения. Пусть корявые, нескладные, зато идущие от сердца. Но теперь язык его намертво присох к небу, и в неловкой долгой тишине слышалось лишь сопение налимовского носа. Молчал Иван, памятуя вчерашний разговор со своим дражайшим начальником, когда вымотанный и обессиленный недельным запоем, заявился пред его светлые очи...

– Ба! Пропавшая душа! – радостно воскликнул Налимов, глаза его хитро блестели. – Мы уж потеряли тебя, Иван Петрович, хоть в розыски подавай! Только по этой «телеге» из вытрезвителя и поняли, чем ты занимаешься. – Налимов вертел в руках бумажку. – В общем, считай, что этого не было, я тебя пожурил – и баста! Но будь впредь поаккуратнее!

Иван, сбитый с толку, затоптался в растерянности, но все-таки лист бумаги с вкривь и вкось нацарапанными словами «прошу по собственному желанию», хоть и несмело, положил перед Налимовым на стол.

– Да ты с ума спятил! С перепою, что ли? – несказанное удивление выразилось на лице Василия Ивановича. – Чем это я тебе не угодил? Иди проспись, да завтра чтоб на работу!

– Я холуем не хочу тебе быть! – поначалу слова Иван выговаривал через силу, превозмогая себя. – Чтоб каждая собака пальцем мне в спину не тыкала – прислужник идет! И ты сам, Василий Иванович, не говорил бы каждому... – Иван долго подыскивал Гришке Гренлахе обидное до жути определение, но так и не нашел. – Чтоб не говорил, что я у тебя задницу до блеска вылизываю, что я тебе пес преданный...

– Что ты мелешь-то? Поклеп на меня возводишь? – прежнее удивление еще не сползло с рожки Налимова, но глаза его поглядывали на Ивана не только хитро, но и зло. – Разве б я смог сказать такое?

– В ресторане? Забыл? – все вскипело внутри Ивана и жаркой волной ударило в голову. – С Гришкой на пару?

– А-а... – Налимов, видно, начал что-то лихорадочно сообщать, но ничего подходящего

не придумал. И все-таки не растерялся: заулыбался заискивающе, вышел из-за стола, протянул руки, пытаясь по-свойски приобнять Ивана за плечи. – Не суди, по пьянке все. С кем не бывает. Наболтаешь порою такого, что потом уши вянут и хоть вешайся. А мы с тобой, Иван, друзья, драгоценнейший ты для меня человек!

– Отвали ты! – Иван отпихнул Налимова, и, вероятно, получилось это чересчур – под навалившимся задом Василия Ивановича угрожающе затрещал стол.

– Но не!.. – Налимов шустро оказался по другую его сторону. – Ты это... руки распускать?! Я быстро укорочу! Не забывай, что за тобой целая очередь безработных, молодежи и мужиков, стоит. Каждый спит и видит твое место занять!.. Сколько я тебе добра сделал! Даже когда за билетки меня судили, и то тебя за собой не потянул, пожалел, «химию» в одиночку отбывал.

«Э, тут ты, Василий Иванович, хватил! – усмехаясь, подумал Иван. – Свидетеля лишнего своим делишкам ты побоялся. Я ведь мог и «расколоться»... Что билеты? Это мелочи!»

Налимов, будучи однажды заведующим конторой кинофикации, приловчился с помощью своей любовницы, кассирши Лены Пазгаловой, собирать мзду с киносеансов в сельских клубиках, благо тогда еще телевизор имелся далеко не в каждом доме. Деревенский люд насчет просмотрев кинофильмов честный, денежки исправно в кассу нес. А кассирша-контролер взамен билета – вежливое «Проходите!» Налимова даже как-то похвалили за сокращение штатов. Уж в каких долях делили выручку Василий Иванович и

любовница, Иван, развозивший кассеты с фильмами, не знал и от предлагаемых денег на всякий случай отказывался. Налимов особо и не настаивал. Выдал Василия Ивановича какой-то киномеханик.

Отзаведовав пару лет клубом на «химии», Налимов вернулся в родной городишко, и ожидающий народ был немного потрясен назначением его на руководящую должность. Оно и понятно, в городке насчет руководителей – жуткий дефицит, а тут свой, доморощенный, со стажем, да еще и на нарах закаленный! Досадные ошибки случаются у каждого.

Что там билетики! «Дело» о них скоро померкло по сравнению с иными Налимовскими вывертами!..

– Ты слышишь? Я повторять не буду! – тонкий голосок Налимова метался по кабинету. – Я могу выгнать тебя к едрене-фене, но я человек! – Василий Иванович вознес вверх палец. – С сегодняшнего дня ты в отпуске! Потом поговорим, свободен!

В дверях Иван то ли услышал, то ли ему почудилось, как Налимов презрительно бросил вполголоса ему в спину: «Неблагодарная тварь!»

Что после таких слов скажешь сегодня Налимову?.. Весь вчерашний вечер Иван под тревожными взглядами матери мерил комнату шагами из угла в угол, давясь беззвучными страшными ругательствами. О, если б Василий Иванович тогда переступил порог!

А сейчас Иван сидел, точно приросши к месту. Он наблюдал за сборами матери к Налимике и тревожно подметил, что мать за последний год сильно осунулась и потемнела лицом, что, навозившись вдоволь со своей обувкой, дышит тяжело и неровно. Когда

мать вышла, Иван напряг слух и различил, как на крыльечке ступеньки под ногами матери отзываются скрипом одна другой нескоро – мать, держась за перильца, видимо, переводила дух. Наконец белый материн платок – Иван скопил взгляд в окно – медленно поплыл за забором. У Ивана больно кольнуло сердце – мать-то Налимихи года на два-три постарше, да и та была бойчей, проворней и вот преставилась в одночасье. А если с матерью это случится?..

Иван покосился на все еще шмыгавшего носом Налимова. Да, горе, такое горе, что только представить и то страшно. Надо помочь Ваське, посочувствовать хоть... Но незатухающая обида разливалась жгуче над благими намерениями Ивана, не давала ему ни слова молвить, ни пальцем шевельнуть.

«Помоги!» Легко матери говорить. Она всю жизнь только и делала, что другим помогала...

Петр, отец Феденьки и Вани, погиб еще по дороге к фронту – бомбежкой разнесло эшелон. Мария осталась с пацанами: одному не было и четырех лет, другому два года сровнялось. Жили в большом просторном доме свекрови, но тесновато становилось под его кровом: перебрались к родительскому очагу Мариины золовки со своими выводками ребятишек, подростков-деверей еще не мобилизовали в армию. Спустя месяц после гибели Петра почувствовала себя здесь Мария не то чтобы лишней, но как-то неуютно. Ее не остановили, когда она вознамерилась вернуться к отцу в деревню, по глазам свекрови поняла: баба с возу – кобыле легче. Поплакали лишь для порядку.

Отец по-прежнему жил один в своем опустевшем, на две избы,

доме. С той поры, как вышла замуж и отъехала младшая дочь Мария, отец быстро сдал, одряхлел, а в последнее лето и вовсе ничего не делал по хозяйству, отлеживался. С возвращением дочери и внуков старик ожил, одиночество доканывало его пуще болезней. Овдовев два десятка лет назад, снова он не женился, детей послушался. И остался к старости один-одинешенек.

У дома за загородой вызревало большое картофельное поле. Весною старик сумел его посадить, но теперь, когда клубни в земле накатились и ожидался урожай, у отца хватало сил лишь выбирать-ся из горницы на завалинку. Дальше – ни с места. Мария смотрела, как внучата теребили бороду деда, гревшегося на робком сентябрьском солнышке, и понимала, что поле перекапывать ей придется одной. За работой она забывалась, и тогда казалось ей, что муж Петр жив, просто уехал на лесозаготовки, как бывало раньше, что никакой войны нет.

На последних картофельных рядках свет вдруг помутился в глазах Марии, рассыпался на множество ярких разноцветных брызг. Она очнулась от хныканья ребятишек; отец безмолвно стоял над нею, опираясь на батог. Марии померещились в глазах его слезы бессилия, или это капли накрапывающего дождя текли по его дряблым щекам.

Ползком, на четвереньках, перемазавшись в грязи, Мария, одолевая жуткую боль в спине, добралась до кровати.

Вечером пришла бабка-знахарка. Она долго мяла и тискала, как железными щипцами, Марину спину. Мария искусала губы, орала благим матом, а бабка только приговаривала:

– Терпи, девонька! Господь терпел и нам велел. Твоя хвороба ничто, завтра встанешь здоровенька, а вот как бы тятеньку твоего не свалило вовсе. Тут мне не пособить...

Мария не прислушивалась к словам знахарки. Но и вправду встала утром и сумела управиться по хозяйству, накормить детей. Только отец не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, шептал все торопливо, устремляя на дочь ясный и полный страдания взгляд:

– Ты, Маша, коровенку купи. С ней-то не пропадете. Сена лонишного много осталось, прокормите... Картошку продай и в ухоронке у меня там пошарь – наскребется.

Отец долго молчал, собираясь с мыслями.

– Братья твои Никандр с Антонием возвратятся, может, скоро. Анфиса, Антонова жена, от родителей придет. Легче тебе с робятенками и будет. Живите все вместе, дружно!

Мария смотрела на угасающего отца, глотала слезы, а в кармане комкала листок «похоронки» на старшего брата Никандра. Так и не посмела сказать о ней отцу до его смертного часа...

Купили корову. Прожили зиму, а по весне вернулся с войны брат Антон, без руки, еще не оправившийся от контузии. Привел от родителей благоверную жену свою Анфису.

– Не желаю я вместе с золовкой жить! – как переступила порог, так и притопнула ножкой дородная краснорожая Анфиса. – У меня от ребячьего реву в ушах резь приключается.

И замкнулась в горнице одна, разлеглась на широкой, с простою душою взбитой Марией перине.

Антон стучал в дверь, ласково уговаривая жену пустить к себе под бочок и грозился, но так и не добился своего. Свернулся под дверью калачиком и проспал до утра. Весь следующий день проходили муж с женой хмурые и молчаливые, одаривая Марию с детьми неприветливыми взглядами. На ночь Анфиса все же подпустила к себе мужа.

Потом был суд. Дом, как инвалиду и орденосцу, присудили во владение Антону. Марии достался амбар.

– Что, выкусила?! – бесновалась торжествующая Анфиса.

Брат виновато прятал глаза: «Я причем? Баба все...»

Мария уходила от родительского дома, держа в руках узлы с небогатым нажитком. Крепко уцепившись за мамкину шею, сидел на закукорках Ванька, Феденька вел за веревку корову. Путь лежал в городок, где с коровой пришлось расстаться, чтобы купить для жилья угол...

Иван, понятно, по малолетству не помнил ничего, знал все по рассказам матери. Повзрослев, он не переставал одному удивляться... Домовладение супругам пошло не впрок. Анфисе все черти блазились, и отчий дом Антон продал. Супруги перебрались в городок, и поначалу Антон, а потом вместе с ним и Анфиса стали захаживать к Окатышевым в гости.

– Мы ведь родня как-никак! – пламенея щеками от выпитой водочки с чаем, провозглашала довольная Анфиса.

Антон, согласно кивая отяжелевшей головой, бубнил ей в тон, но под злыми и недоуменными Ванькиными взглядами ежился. Раз прорвалось у него:

– Чего это племяш на меня исподлобья смотрит? Как волчонок!

Чего я худого вам сделал?

Голова у Антона тяжелела каждый вечер. Даже из водовозов его выгнали, с женою нелады заели. И он все разрешил разом – наложил на себя руки.

Овдовевшая Анфиса бродила теперь к Марии плакаться каждый божий день. Иван за многие годы до того привык видеть ее с вечно кислой рожей и жалобными речами на одиночество и навалившиеся хвори, что уж другой и представить не мог. Анфиса тихонько жаловалась, растирая докрасна глаза и тыча пальцем то в один, то в другой разболевшийся бок; мать внимала ей. Но терпеливо ли, сочувственно ли – не удавалось понять Ивану. Оставалось только наблюдать одну и ту же картину.

Однажды Анфиса прожила под золовкиным кровом две недели, спасаясь от морозов.

– Печку не могу топить, бочок болит, – объясняла она.

– Забирайся на печь, грейся! – отвечала Мария.

Разморясь на лежанке, Анфиса в блаженстве оглашала дом лошадиным храпом.

– Удивляюсь тебе, мать! – морщился Иван. – Помнишь, как она нас из дому выгнала?

Мать смотрела на сына удивленно:

– Так что, и нам ее гнать? На мороз, старую и больную? И родня она нам...

...Эх, мама, мама! Умеешь ты все прощать, да в наше-то время так ли это просто!

Иван покосился на Налимова, скромно сидевшего в уголку на стуле.

– Будь спокоен, Василий Иванович! Чем могу – помогу!

ВАСЬКИНО СЧАСТЬЕ

С горем в одиночку совладать трудно. Тем паче с таким, как смерть матери. Любое, даже самое черствое сердце оно содрогнувшись заставит.

Когда сегодня утром Василий Иванович потерянно сидел на стульях крылечка дома матери и думал, с кем поделиться своей бедой, виделась ему только двое, – Лена Пазгалова и Иван Окатышев. Без Ивана он чувствовал себя беспомощным, но мысль о том, чтобы идти к нему, поначалу отверг. Оставалась Лена. Советчица, если уж не друг, то приятельница, суровая и жаркая Василия Ивановича любовница.

Так что, прежде чем побывать у Окатышева, Налимов первым делом поднял с постели адским стуком в дверь Лену...

Сколько лет было ей, никто не мог точно определить. Лена натужно кашляла, будто только что освободилась из сибирских рудников, телом была до жути суха и костлява, платье полоскалось на ней, как балахон на ветру. Курила она «Беломор», так пыхала зажатой в желто-черных зубах папирой, что дым плотно окутывал ее коричневое, в глубоких прорезях морщин лицо, с которого смотрели пронизательные глаза.

Солидный мужичка Леной не мог заинтересоваться, разве что доходяга какой. Но и его, сердешного, через неделю совместной жизни Лена с треском вышибала из своего мезонинчика с большим «итальянским» окном. Заезжих, шибко голодных мужчин она тоже не привлекала: голова ее поседела до поры от одинокой жизни, тело

еще больше усохло и даже мало-разборчивому поддатому ловеласу напоминало обглоданную пожелтевшую кость.

Встрепенулась и ожила Лена, лишь когда затеялось у ней прелюбодейство с Налимовым...

Василия Ивановича тогда словно бес в ребро вдарил. Случилось с ним такое дело, когда пребывал он между креслами: из одного выкинули, а в другое еще не посадили. Налимов тогда от безделья загулял. Жена, забрав ребятишек, уехала. Устала слушать мужнины пьяные безудержные восхваления с горькими отчаянными всхлипами вперемешку.

– Что, сволочь? – вслух корил отсутствующую супружницу Налимов, бухая кулаком об стол. – Смылась?! Я тебе не поэтическая натура! – он, скорчив рожу, потрепал ухо растопыренной пятерней. – И не художественная самодеятельность.

«Ну и чудо же я был!» – разглядывая свое отражение в зеркале, хмыкнул Налимов...

Ему, тогда, давно еще, заведовавшему клубом в глухом селе, ничего не стоило выйти на сцену, натурально прокукарекать петухом и потом под бурное хлопанье в ладоши зрителей раскланиваться, сияя белозубой улыбкой.

Занесло Ваську сюда после курсов киномехаников. Клубик – неказистый, наскоро срубленный ссыльными в тридцатых годах барак. За войну крыша провалилась, в пазы между бревнами в ином месте кулак просунешь. Но подлатали крышу, подконопатили стены – и Васька стал заправлять.

Парни Ваську не били – к красивым девкам он не приставал, – заходили к нему запросто выпить. Налимов не отказывался, но и меру знал, под забором не валялся. Кто-нибудь из парней раздергивал гармонь, и Василий выплясывал пуще всех – только щеки алели.

Народ постарше к Ваське относился уважительно, как к человеку, несущему культуру в массы. Старики с ним с почтением раскланивались, старухи шептались ему вслед тоже без хулы. Даже во время киносеансов, когда рвалась заезженная пленка, в темном зале стоял лишь сдержанный гул, Ваську не обзывали сапожником и не грозились отправить на мыло, а то куда и подальше.

Налимов сколотил кружок художественной самодеятельности, до глубокой ночи мучил придирками механизаторов и доярок. То они ревели, ровно стадо баранов, то засыпали прямо на сцене клубика. Васька мог только придирается с умным видом, певческого голоса у него не имелось, а слуха – тем паче. Был разве что талант передразнивать петуха да исправно сучить ногами в пляске. Но Васька не унывал, лелея в себе руководителя.

Было отраднo, сладко и страшновато. Будто по крутому склону высоченной горы неся на лыжах вниз, когда лишь одним мановением руки заставлял замолчать этот хор парней и девок, старательно дерущих глотки и преданно пучивших на тебя глаза.

Рано поутру замученные заполуночным бдением «артисты» с красными глазами и помятыми лицами торопились на работу. В это время Васька, тоже заспанный и плохо соображавший, выбредал в сенник по малой нужде и, облегченно вздыхая, выглядывал в

окошечко, провожая их равнодушным взглядом. Утренний холодок живо въедался в неприкрытые участки тела, и Налимов, вздрагивая, вбегал в тепло избы, нырял в постель. Отогреваясь, он засыпал, все еще тихо ликуя от какого-то странного злорадства: вы вкалывать пошли, я тут, в постельке, лежу. Это потому, что я умнее всех вас! Сон Васьки продолжался до обеда...

Всколыхнула всю тогдашнюю Васькину жизнь молоденькая учительница музыки и пения, приехавшая по распределению в школу. Наружности она была невидной: сухая, как хворостинка, с едва наметившимися припухлостями груди, востренький длинный носик венчали очки с толстыми стеклами, каждая жилочка просвечивала под ее бледной кожей. Деревенским девкам, румяным да грудастым, прибывая не шла ни в какую ровню, но Васька на нее глаз положил, завлек в свою самодеятельность.

Измученный Васькин хор, готовый вот-вот разбежаться, принял Дину Александровну как глоток родниковой воды в жару. Время репетиций сократилось: оказывается, свои деревенские песни девки и парни пели что надо. Дина Александровна только корректировочку кое-какую внесла. От бравурных маршей, тексты к которым Васька старательно переписывал из журналов в библиотеке, она решительно отказалась, и опять певцы с радостью вздохнули: порою выполняя Васькину команду – ори шибче! – они за вечер становились туги на ухо. Васька собрался «завестись» насчет патриотизма, но под строгим взглядом учительницы смолк, покраснел...

За Диной он теперь бродил, как привязанный. Встретит ее

вроде б невзначай, а заговорить о чем – не ведает. Пряниками, как парни девок в селе, не улестишь, еще высмеет, и на качели не пригласишь – строга. И все же Васька нашел подход. Дина после репетиции, случилось, читала стихи. Парни и девки, раззявя рты, слушали ее звонкий взволнованный голос. Васька же так и ел ее глазами. «Еще почитайте, еще!..» – с восторгом просили слушатели, и, конечно, громче всех Васька. Дина, на минутку задумавшись, с грустной улыбкой читала еще, и казалось, стихам, которые держала ее память, не будет конца. Васька на этой почве и подъехал:

– Дина Александровна, стихи хочу послушать, – приставал он так, что ни пройти, ни разминуться бедной учительнице.

Дина воспринимала Васькину просьбу как искреннюю, но не будешь же посреди улицы декламировать стихи. Они садились на лавочку в уединенном месте, и Дина вновь преображалась. Лицо ее делалось задумчивым, даже строгим, зрачки глаз, увеличенные стеклами очков, темнели глубиной, и вновь то взволнованно дрожал, угасая, то радостно всплескивал ее голос. Васька в стихах – ни в зуб ногой, и всепонимающую мину на краснощекой роже удерживать ему было весьма трудно. Внезапно возникал нестерпимый зуд в ягодице, и Ваське немалых усилий воли стоило не почесать ее. Но рука упорно тянулась сама...

– Вам неинтересно, Василий?

Вопрос Дины захватывал Налимова врасплох. Он весь пунцовел, тряс рукою, как обожженной.

– Что вы, Дина Александровна, интересно уж очень!

И Васька изо всех сил придавал физиономии сосредоточенное выражение.

– Вот послушайте еще это...

«Пронесло!» – облегченно смахивал холодный пот со лба Васька, но через минуту был готов выть от ярости: проклятый зуд опять забирает!..

После уборочной в райцентре собирали на слет силы местной художественной самодеятельности. Пригласили туда и Ваську с хором. Успех был ошеломляющий! Наполненный народом зал после каждой песни в исполнении Васькиных парней и девок гремел аплодисментами, потом вышла на сцену Дина, и в напряженной тишине присутствующие в зале внимали ее тонкому мелодичному голосу. И, как гвоздь программы, вылетел в окружении парней Васька, пошел по сцене плясать с гиком и свистом русского, а натоптавшись вдосталь, замахал руками, как крыльями, присел и петухом залился! Весь зал так и замер, а председатель райисполкома Вадим Владимирович Сомов, здоровяк с начисто обритой головой, порывисто встал с места, взгромоздился на сцену и, крепко обняв, облобызал перепуганного Ваську:

– Вот какие народные таланты! – звучно пробасил он в зал. – Где уж там с нами гнилому Западу тягаться! Мы им покажем кузькину мать!

Васька, стоя рядом с «предриком», сиял, распираемый гордостью, но глаза то и дело косил в сторону притулившейся в уголке за занавесом Дины. «Теперь тебя я точно не упущу!» – свербило в Васькином мозгу. В тот же день Васька сделал Дине предложение...

Недолго задержались молодожены в селе, пришлось Ваське покинуть и ветхий клубишко, и местную худсамодеятельность.

Хорошо быть замеченным высоким начальством! Сомову, видимо, врезалось в память задорное залиvistое Васькино кукареканье, и взял он молодца под свое крыло. Налимов неожиданно-негаданно получил назначение на должность директора Дома культуры в своем же родном городке. Васька таким поворотом в судьбе был польщен, но и растерялся. Тут предстояло заведовать не полуразвалившимся сараем, а целым собором, пусть и с усеченными главами и изнутри наглухо заштукатуренными стенами.

Долго стоял Налимов, распахнувши рот, перед новым местом обитания, разглядывал резные закомары, подпирающие крышу, и не решался переступить порог, чтобы взять бразды правления очагом культуры в свои белые ручки. Но на поверку разница между клубом-сараем и домом-собором оказалась только в размерах. В будни вечерами жители городка наполняли кинозал, в выходные – из выходов прямо на улицу вытаскивали длинные, сколоченные рейками ряды стульев, и в зале под звуки радиолы резвилась молодежь. Тут для Васьки не возникло загвоздки: кино «крутить» он мог сам и с молодняком под музыку попрыгать не отказался бы, но солидность не позволяла. У него начало расти брюшко.

Художественную часть опять взяла на себя Дина. Так называемый ансамбль песни и пляски, состоящий из местной интеллигенции, быстро признал в ней своего негласного вожака и пошел греметь на разных смотрах. Васька только грамоты успевал принимать. Жить бы да радоваться! Но задумал Васька жене презент сделать: приглянулся ему старый,

барских времен, рояль, громоздящийся в углу сцены. Какая же, к лешему, учительница музыки, если инструмента дома нет! Мысль эта грызла Ваську денно и ночью, и он решил...

Историйку о том, как молоденький директор Дома культуры прикарманил себе рояль, смаковал весь городок. А Васька, еще не переваривший допросы в ОБХСС, был вызван к Сомову. Вадим Владимирович гневно обрушился на Ваську, и в бурлящем потоке слов Налимов уловил: «Не умеешь воровать – не воруй!» Если остальные эпитеты отлетали от Васьки, корчившего скорбную мину, как от стенки горох, то эти слова ожгли обидой, словно вицей по мягкому месту стегнули. Васька вылетел, не замечая ступенек лестницы, на крыльцо райисполкома, захватал ртом воздух. «Ну! Ну! – тужился он и наконец выдохнул: – В другой раз умнее буду!»

Не дал Сомов Ваське после взбучки как следует очухаться – коммунальным хозяйством в городке заведовать запихнул. Тут Налимов не пендрил ни уха ни рыла, развал в хозяйстве еще больше усугубил. И всего лишь единственное приобретение сделал, и то для себя, ценнейшее – в лице Ивана Окатышева, когда последствия аварии замял. Ванька смотрел на своего благодетеля преданными собачьими глазами и покорно следовал за ним во всех причудливых зигзагах служебной карьеры.

Сомов перебрасывал с места на место, дергал Ваську, как полупьяный придурковатый кукловод управляет потрепанной, измазанной в грязи и сале, но любимой марионеткой. Налимов понимал это, но на судьбу не роптал – не в

землекопы же его перебрасывали, было бы кормно, было бы чем поживиться – и ладно. Только в краткие промежутки между «креслами» он тосковал, пил и, опухнув с запоя, грозил и плакался в своей пустой квартире. Лишь Иван стойко разделял с ним его печаль...

Когда пришлось Налимову «оставить» пост директора дурдома в окрестностях городка, его «заело» вновь:

– Ваня! Еще бы выпить... – жалобно ныл Васька, опрокидывая порожние бутылки кверху донцем. – Здесь тоскует – терпенья нету! – прикладывал он руку к сердцу.

Иван пораскинул умом: время-то позднее. Но смекнул, куда податься, – к Лене Пазгаловой. К ней мужички, случается, навешиваются и, естественно, не по поводу одной Лениной красоты.

– Василий Иванович, одному мне она не даст, да и не откроет вовсе, бабы моей побоится. Вот если б ты сам пошел...

Васька был готов идти хоть на край земли...

Лена выглядывала в щель приоткрытой двери недоверчиво, но, по-видимому, узнав важного гостя, распахнула ее широко.

– Вы посидите маленько, – указала она на стулья за столом, искоса с интересом разглядывая Налимова. Вероятно, столь солидные персоны к ней не навешивались, тут терлись граждане поплотнее.

– Страшилище! – от одного взгляда на Лену Налимова передернуло.

Впрочем, первоначальное мнение о хозяйке он под утро переменял. Иван потихоньку смылся, оставив Василия Ивановича разглагольствовать о житейских невзгодах, благо Лена внимательно выслушивала и с

сочувствием поддакивала, даже не пытаясь высвободить свою сухую руку, прижатую к столу Налимовской пятерней. Часы на стене пробили не то три, не то четыре. Лена сладко зевнула и, не говоря ни слова, ушла в отгороженный шкафом угол, где стояла кровать, разделась и легла. Васька, опешив от такого поворота дела, минут пятнадцать ерзал на стуле, потом смачно допил остатки коньяка из бутылки, громко прокашлялся. В ответ ему лишь слегка поскрипывали пружины матраца на кровати за шкафом. И Налимов решился.

– Василий Иванович, зачем же вы? Вам завтра будет стыдно! – Лена слабо, больше для виду, отбивалась, а Ваське, которому кровь упруго хлынула в голову, а потом растеклась по всему телу, все было нипочем...

Ему и впрямь стало неловко, когда при полуденном свете он, приоткрыв один глаз, разглядел Лену, натягивающую сорочку на сухое, с выпирающими костями тело. Лена обернулась, желтое лицо ее показалось Ваське черным, как у негритянки, и он поспешно зажмурился. «Образинато, во! И как я с ней?» Жалко улыбаясь, не глядя на Лену, он, путаясь в штанинах, кое-как натянул брюки, заскочил в ботинки и, не зашнуровывая их, накинув поверх грязной мятой рубашки пальто, не прощаясь, ускользнул из мезонина. Бывать здесь еще Васька заранее закаялся, но, видать, поторопился...

Вскоре Сомов вызвал Ваську:

– Вот что, друг ситный! Принимай контору кинофикации! И чтоб никаких штучек! – Сомов в

очередной раз пригрозил Налимову пальцем.

Час спустя Васька с Ивановым мчались в деревню за Диной Александровной и чадами. И опять все покатилося у Василия Ивановича добро да ладно, только дом с мезонином, где обитала Лена, он старался обходить стороной. И все-таки, как бы невзначай, оказывался у его крыльца... Однажды, увидев на крыльце Лену, Васька чуть не припустил бегом мимо, но Лена остановила его жестом руки:

– Василий Иванович, что ж вы в гости ко мне больше не заходите? Не поглянулось? – Лена спустилась с крыльца и ласково взяла Налимова под локоток. – Я, конечно, женщина бедная, попотчевать гостя особенно нечем. Но чем богата, тем и рада.

Васька почувствовал, что Лена несильно, но настойчиво влечет его за собой по ступенькам крыльца.

– Вы, Василий Иванович, пиджачок свой забыли у меня. Я уж на дом к вам его не понесу, разве я дура... – Лена засмеялась, ощерив прокуренные до черноты зубы.

Налимов отпрянул, но она еще сильнее сжала его локоть.

– Разве что пиджак забрать... – вздохнул Васька и пошагал, конвоируемый Леной, вверх по лестнице...

В маленьком городке ничего не скрыть. Поначалу только старушонки, соседки Лены, подглядев, как Налимов, воровато озираясь, выбирается по утрам из их дома, злорадно потирали ладошки и изнемогали от зуда в языках. А вскоре уже любой досужий язычок в городке смаковал подробности Васькиных с Леной взаимоотношений, раздувая сплетню до невероятных

размеров. Выходило, что Налимов отправлял насильно бедных жену и детей в деревню к родственникам, а сам, злодей, скрываясь от праведного людского догляда и суда, возил Лену к себе на квартиру в детской коляске. Раз Лена сухая да тонкая, значит, посему и гибкая, как акробатка, любым кандибобером сложиться может, хоть тебе в узел завязаться.

Пересуды зажурчали с еще большим шумком, когда Лена оформилась в конторе Васькиной «шаражки» кассиром и экспедитором одновременно. Немногочисленные подчиненные провожали своего начальника ехидными взглядами. А какие гнусные рожи корчили они вслед Налимову и Лене, когда видели их вместе! Ваське порою казалось, что его спина дымиться начинает. Но он все забывал ночью... Уж сколько лет прожили с Диной, а она все оставалась, ложась с мужем в постель, такой же, как и прежде, холодной и равнодушно-отстраненной к Васькиным ласкам. И часто Васька, сглатывая досаду, уходил из дома озлобленным на весь мир. А от Лены, ее горячечных, воняющих «Беломором» губ, иссохшего тела кто ожидал такого темперамента?! Налимов совершенно терял голову...

Заявившись поутру домой, он, отводя в сторону взгляд, врал догадывающейся прекрасно обо всем Дине. Вранье надоело обоим супругам, и Васька, ляпнув первое пришедшее на ум оправдание, брел на кухню поглощать приготовленный завтрак и поражался всякий раз ледяному спокойствию жены. «Это ж надо! – размышлял он, жадно поглощая завтрак. – Даже такое ее не прошибает. Камень, а не баба!»

Дина Ваське была не нужна, с каждым утром он чувствовал это больше и больше. Был бы он простой работяга, то ушел бы от нее, особо не задумываясь. Тут нельзя – престиж потеряешь. Да и дети имеются. Как подросли двое сыновей, Налимов даже и не заметил. Няньчиться он был не любитель, держался от этого дела подальше. Он замечал, что пацаны тянулись к нему мало, смотрели на него как на чужого. «Она настроила их против меня, – решал Васька, косясь на Дину. – Ничего, ребята, придет время, и я вас такими людьми сделаю, что всю оставшуюся жизнь папочку добром вспоминать будете!» Успокоив свое родительское чувство подобными мыслями, Налимов покидал дом до следующего утра...

Лене он открыл не только сердце, но и помыслы. Она стала компаньонкой в Васькиных делишках, на редкость честной и преданной. Свою долю от якобы проданных в сельских клубах билетов она не пыталась увеличить за счет Налимовской, не утаивала и копеечки. И жить бы Ваське в любви и при деньгах еще невесть сколько, да ведь как веревочке нивиться...

На суде Лена, поглядывая на кислую рожу трусившегося мелкой дрожью Налимова, брала и брала все на себя. Выходило по ее словам, что всю аферу с билетами затеяла она, коварно опутав бедного и ничего не подозревающего Василия Ивановича, и он, стало быть, всего лишь ее доверчивая безвинная жертва. «Вот дура!» – с восхищением подумал Налимов, когда зачитали приговор: Лене садиться в тюрьму, а

ему предстояло отделаться лишь «химией». Там Васька честно возглавлял весь срок коллектив клуба и через несколько лет вернулся в родной город прежним румянощеким, брюхастеньким и жизнерадостным, как и не отбывал никуда. Дина верно ждала его, встретила как мученика, словно позабыв начисто прежнее.

Лена освободилась раньше Васьки, просидев всего год, попала под амнистию. Но и этого года ей хватило чересчур. Она бродила как тень, еще более высохнув и почернев, с совершенно седой головой. Когда Налимов встретился с ней случайно на улице, то прирос к месту, испугавшись ее страшного лица, затянувших его половину иссиня-черных полукружий под глазами. Васька немалым усилием воли заставил непослушные ноги сделать первый шаг, потом бегом рванул мимо Лены. И долго еще преследовал его полный горького недоумения ее взгляд.

После той встречи Василий Иванович стал осмотрительнее. Едва завидев Лену, он, обегая ее, какие только крюки не загибал по закоулкам! А еще спустя немного времени они жили в одном маленьком городке и как бы никогда не знали друг друга...

...Когда Налимов прибежал к дому Лены, та ему не открыла, даром что Василий Иванович лупил и кулаками и ногами так, что еле выдерживала дверь. Обессилев, он вышел на улицу и поднял глаза на знакомое створчатое окно мезонина. Занавески были наглухо задернуты. Налимову оставалось идти только к Ивану.

ВАСЬКИНО ГОРЕ

Схоронили Налимиху в Сограде чуть слышно потренькивающей в пожарные колокольцы приходской церкви Ильи Пророка на окраине городка.

За минувшие два дня Василий Иванович все успел расставить в себе на прежние места, но когда над свеженасыпанным холмиком земли с воткнутым деревянным крестом он всплакнул навзрыд, закрыв наглухо лицо платком, Ивану сдавило горло.

По обратной дороге Налимов, сидя в кабине рядом с Иваном, тоже тяжело вздыхал, мусолил кулаком глаза, вытряхнул из кармана и бросил под язык таблетку валидола. «Э, вон мужика-то извело!» – мысленно посочувствовал Иван, взглянув украдкой на начальника.

– Да как же я мог забыть?! – взорал вдруг Налимов и хлопнул ладонью себе по лбу. – Сегодня же Вадим Владимирович Сомов с сыном ко мне в гости приезжают! Давай сворачивай к моему дому!

– А поминки? Люди уж, наверно, собрались.

– Подождут. Успеем.

Снова на Ивана глядел тот, прежний, Налимов, как будто никогда и не было тех печальных дней.

Сомов, стоя у недостроенного Налимовского коттеджа, попинывал колесо «мерседеса», переговаривался о чем-то, посмеиваясь, с копавшимся в моторе водителем. Иван еще не успел как следует притормозить, а Налимов уже, соскочив с подножки, неся со всех ног к руководству. Еще не хватало ему для полного счастья отчеканить строевым шагом и вскинуть

ладонь к полям шляпы. Сомов небрежно сунул Василию Ивановичу ладонь, тот сжал ее своими обеими, горбясь в поклоне, – казалось, что он вот-вот присосется к ней розовыми пухлыми губами.

– Э-э, братец, гостя ждать заставляешь! – шутливо пожурил Налимова Сомов. – Я из области сюда, как на крыльях! К старому товарищу. Городок родной проводить... Стоит! – отрывисто говорил Вадим Владимирович и, запрокинув голову, оглядывал с жадным восторгом высокое ясное небо, потом перевел взгляд на столетнюю ель, возвышающуюся рядом с Налимовским домом. – Смотри-ка, допер ты, не спилил этакую красоту! Молодец!

От похвалы лицо Василия Ивановича довольно засияло.

– Так ведь мы, Вадим Владимирович...

Сомов не дал ему договорить:

– А терем себе заворачиваешь... – кивнул он на новостройку. – Губа не дура! Ой, смотри!.. – и погрозил Налимову пальцем.

Сомов покинул родные края давненько. Из многих оставшихся по прежнему месту работы связей не порвалась и веревочка, соединяющая его с Налимовым. Временами она вроде бы давала слабину, когда Васька летел вниз, но вскоре натягивалась и неизменно вытаскивала его наверх. Сейчас пенсионер Сомов был почетным председателем правления строительного концерна, куда и Васькина «шаражка» на паях входила. Держал «контрольный пакет» и заправлял всеми делами его сын – вон он, лысоватый «михряк»

перетаптывался рядом с отцом, насмешливо и высокомерно поглядывая из-под стеклышек очков на Налимова. Василий Иванович от потаенных нехороших предчувствий поежился даже...

– Ну, веди в дом! – басовито заявил Вадим Владимирович хозяину, приняв от своего водителя увесистый рюкзак и зачехленное ружье. – Славно разомнемся! Уж сколько собирался к тебе и, слава Богу, вырвался! А чего ты такой кислый?

Налимов виновато развел руками, заменив остатки деланной веселости на лице грустной миной: дескать, рад несказанно приезде гостей, да вот...

– Горе у меня, матери не стало!

– Когда? – насторожился Сомов.

– Сегодня похоронили.

– Соболезную, искренне соболезную... О, дьявол, уехал! – провожая глазами резко взявший с места и вильнувший за угол «мерседес», с сожалением воскликнул Сомов и кивнул сыну: – Брякни ему по «мобильнику», пусть срочно вернется! Жаль, охота сорвалась...

– Вадим Владимирович, что вы? Не успели приехать и назад? – засуетился, мелкими шажками по-мальчишески заподпрыгивал вокруг Сомова Налимов. Но остепенился, взял его под руку. – Вадим Владимирович, дорогой, конечно, на это мероприятие приглашать не принято, но... почтить память мамы. Если вам не в труд...

– Извини, братец, не могу, – заотнекивался Сомов. – Не люблю на поминки ходить, хоть режь! После мысли всякие в голову лезут. Так что, извини, Василий Иванович, себя не пересилишь.

Сомов нахмурился, губы его перекосила недовольная сожалеющая усмешка. Налимов опера-

тивно усек перемену в настроении начальства и поспешил принять экстренные меры. Рожа Василия Ивановича скривилась, щеки плаксиво задрожали, однако начальственной руки он не отпускал, осторожно, но настойчиво увлекая Сомова в дом.

– Вася, не надо так переживать-то... – начал сдаваться Вадим Владимирович. – На тебе ж лица нет. Помянем твою матушку...

Как всегда, Налимов нашел соломоново решение. Проводив гостей в дом, пошарил там и сям, и вскоре появилось на столе сервированное на скорую руку угощение. Иван, по-прежнему сидя в кабине, видел в проеме незастекленного окна то лысую с седым пухом за ушами голову Сомова, то холодно поблескивали там стеклами очки его сына, но все поминутно заслоняла массивная фигура Налимова, согбенная в подобострастном поклоне. Окатышев не знал, что делать – ехать ли на поминки одному, либо же стоять на месте, дожидаться.

– Вертится, как юла! Холуй! – со злостью подумал он про Налимова. Но какой-то внутренний голос тут же ехидно заметил ему: «А сам-то?»

«Да я разве так...» – попытался защититься Иван, но с досадой понял, что из этого ничего не выйдет. Он что есть мочи сжал руль и крепко приложился лбом к обвитой цветной проволокой его баранке. Потом долго тряс головой, но морщился не столько от боли, сколько от звуков голосов, доносившихся из окна дома, – басовитого, бухающего будто в колокол Сомова и неумолкающего Налимовского щебетания.

Гости и хозяин, подвыпившие, наконец, вывалились на крыльцо.

– Иван, мы едем на охоту! – громко заявил Василий Иванович и любящим преданным взглядом прямо-таки впился в лицо Сомова. – Я для вас, Вадим Владимирович, и сына вашего солнце с неба достану! Только пожелайте. Хотите? – Налимов старался казаться намного пьянее, чем был на самом деле. – На охоту!!! Что там поминки! Засядут за стол пяток старух, и сиди весь вечер с ними как дурак с квелой харей! А мы егеря за шкворень с собой и – пух-пух!.. – Василий Иванович принял позу стрелка под удовлетворенный кивок Сомова и с блудливой усмешкой дернул за рукав его сына: – У егеря еще и дочери-разведенки приехали, смазливые-е... Слышишь меня, Ванька, грузи все, что нужно, в машину!

Ивану словно кто-то невидимый сжал руками горло, он захватал ртом воздух, чувствуя, как от резкого прилива крови в голову вот-вот полезут из орбит глаза. «Как Ваську назвать? И слова-то такого люди, поди, не знают...» – металась у Окатышева единственная и беспомощная мысль. А рука как-то сама собой нащупала ключ зажигания, мотор натужно взвыл. Иван лихо развернул автомобиль и понесся по дороге прочь. В зеркальце заднего вида он успел различить недоуменно застывшие на крыльце фигуры и закричал от дикой торжествующей радости вперемежку со злостью и, конечно, не расслышал, как Сомов-сын жестко попенял сникшему Василию Ивановичу: «Порядочки у тебя!..»

Глава одиннадцатая

ЖЕНА

«А к Григорию-то надо бы сходить...» О чем только с утра не передумала Варвара, чего только по дому не переделала, а мысль эта, как запала в голову, так и не выходила...

Как же растерялась Варвара, когда нежданно-негаданно во дворе своего дома увидела Булина! Он или не он? Сколько лет прошло... Грузный седовласый мужчина с округлившимся под рубашкой порядочным пузцом вместо стройного юноши стоял перед нею; в грубых чертах его лица была присутствующая слишком бурно прожитым годам дряблость. Только в глазах, каких-то выцветших и с воровато перебегающим взглядом, все же осталось чуточку чего-то такого, в чем, как в бездонном омуте, без-

оглядно и безнадежно утонула тогда, давным-давно, юная Варька.

Еще в школе она на Гришку чуть ли не молилась. Гренлаха на щедрых харчах бабки и деда к старшим классам поднялся рослым широкоплечим парнем, кровь с молоком. Что отец его лейтенантик из службы снабжения смотался в неизвестном направлении, едва распустили после войны часть в городке, что мать, постоянно хворающая с малолетства, вскоре после того отдала Богу душу, по Гришке и незаметно было.

Дед и бабка пестовали единственного отпрыска в Булинском роду за сына и внука вместе, что Гришка и бабку мамой называть стал. Сыт Гришка, одет, красив, по улице идет, ровно новый полтинник

сияет. Не сравнится с братьями Окатышевыми и их дружкой Олей Ключевым, обряженными в штопаные-перештопаные тряпки, с их невидными, ссохшимися от постоянной бескормицы фигурками и бледными осунувшимися лицами. Бывало, Варька всю дорогу, от школы до дома, провожала Гришку, хоронясь за углами. Попастся ему на глаза она стыдилась из-за своего черно-серого, и для школы, и для улицы, платья. Да и вряд ли бы удостоил взглядом Гренлаха тонконогую пигалицу с тощим жгутом рыжих волос, по-смешному свернутым на затылке, и с усеянным конопушками личиком.

Вскоре Варькиным страданиям пришел конец. В лейтенант-интенданте, Гришкином папаше, видно, проснулись-таки запоздалые отцовские чувства, и прикатил он из далекого города за сыном. Из ветреного «летехи» вымахал солидный майор, и не по один вечер отец с сынком важно прогуливались по улочкам. Позади семенили счастливые дед с бабкой. А Варька каждую ночь мочила слезами подушку...

...К беготне за нею Ваньки Окатышева Варька относилась равнодушно. Задрав нос, шла с танцулек, отмахивалась веткой от комаров и ухом не вела на неловкие Ванькины речи, которые тот выдавливал из себя, краснея и отдуваясь. Прощаться перед отправкой в армию Ванька пришел к ней с остриженной наголо головой и тоскливым взглядом испуганно-грустных глаз. Только тут в Варваре вроде бы шелохнулась жалость, и то чуть...

У Окатышева уж подходил к концу срок службы в далекой Германии, когда в городок заявился

Гришка, приехал к деду с бабкой в гости, ровно гром среди ясного неба прогрохотал. По танцплощадке в городском саду он расхаживал гоголем, бросал небрежные взгляды на девчонок. Варька пялилась на него, наверное, пуще всех, потому-то и пригласил он ее на танец.

И закружилось, завертелось потом все, как в том первом вальсе! Варвара едва коротала мучительно-медленно тянущийся день среди старух-вышивальщиц. Вспоминала недобрый словом мать: надо же было пристроить дочку в эту артель – деньги, видишь ли, хорошие здесь зашибают. Но Варвара лишь исколола в кровь все пальцы, пыхтя над вышивкой. Зато вечер, а за ним и светлая летняя ночь пролетали мгновенно. Жаркие Гришкины объятия, поцелуи, ласковые слова вскружили Варьке голову. Очнулась девушка, когда запоташнивало, когда бабки в вышивальной артели подметили за ней неладное и доложили мамаше.

Мать в тот же вечер зажала дочь в угол и учинила допрос с пристрастием. Варька угрюмо молчала, пока мать, тоже приглядевшись и заметив перемены в дочери, ругалась и грозилась. Потом мать сникла, заплакала. Это случилось редко. И отец, напившись до одури, глумился над нею, и дети болели, и, бывало, на столе ни хлебной крошки – мать не роняла и слезинки. А тут плакала, закрыв лицо большими руками с выпершими под грубо сморщенной кожей синими венами.

Варька всю ночь, закусив до боли нижнюю губу и решительно сдвинув брови, сочиняла которое уж по счету письмо упорно молчавшему Гренлахе. В конце письма приписала, что ждет ребенка

и что если Гришка не приедет, то она заявится к нему сама. Ответ от запропавшего Гренлахи пришел через несколько дней. Гришка сознавался, что давно любит другую, женился, просит извинить, коли что не так. Варька совсем ушла в себя, замкнулась, и никто не мог добиться от нее и слова. И вряд ли бы кто представил, какую мысль затаила она...

Вернулся с армейской службы Иван Окатышев и опять запоглядывал на гордую Варьку. Но нос свой она задирала перед ним недолго. Позволила и под ручку себя взять и, ненароком прижатая Ванькой к калитке у родительского дома, готовно подставила для поцелуя губы, а дошло дело до стога сена за околицей, взвалила на себя оробевшего Ваньку и обвила жарко его шею руками. Ванькина мать застучала молодых, когда уж между ними все решено было.

Всякий раз – и при первом с Ванькой поцелуе, и лежа на шуршащем, пряно пахнущем сене, и сидя рядом с женихом за свадебным столом, краснея от нескромных взглядов, бросаемых гостями на округлившийся под белым платьем живот, Варька прикрывала глаза и видела перед собой лицо Гришки. «Вот и я. Вот и я, тебе на зло...» – неслышно твердила она, вкушая месть, и когда перед ее открытыми глазами опять предстал добродушный и услужливый до глупой робости Иван, ей хотелось крикнуть ему обидное слово, даже ударить. «А за что?» – сдерживалась Варька.

Иван пришел встречать ее с сыном из роддома один. Осторожно приняв ребенка на руки, он взгляделся в его красное сморщенное личико.

– Варя! Варенька! Да ты!.. – Ванька, что еще сказать, не нашелся, сочно чмокнул жену в щеку.

Варька тихо побрела за мужем, опустив голову и представляя пересуды, какие сейчас бушевали в городке. Иван-то, и пяти месяцев еще не минуло, как из армии пришел, а вот уж – на тебе! – папашей сделали. Но Ванька, нежно прижимая огромными своими лапищами к груди сверток с малышом, обернулся, и лицо его осветилось такой счастливой улыбкой, что все Варькины невеселые мысли напрочь развеялись, а Гренлаха, наверное, в первый раз не замаячил назойливо перед ее глазами...

Первая любовь вспоминалась Варваре реже и реже, и то лишь когда непьющий по полгода и дольше Иван на целую неделю впадал в жуткий запой, приползал домой весь извалянный в грязи и с расцарапанной рожей, катался по полу и выл от невыносимой тоски. А Варвара, с презрением глядя на распластавшегося у порога мужа в изодранных лохмотьях и с обросшим густой щетиной чумазым лицом, невольно представляла ладного, с иголки одетого, предупредительно-вежливого Гришку. Вот что значит не судьба!

Григорий оставался в ее памяти всегда молодым, и было от чего растеряться при виде грузного, с седыми висками мужчины. Украдкой поглядывая на него, Варвара болезненно выискивала в его чертах, движениях, голосе хоть что-нибудь от прежнего Гришки...

Иван еще, дорогой муженек, спустя пару дней после приезда Гренлахи удружил: около полуночи ввалился домой вдрызг пьяный и принялся укорять жену куском сала, проданным за деньги свекрови.

Варвара поняла, что это лишь предлог, мысленно посылая проклятья свекровушке – поди-ка ты, пожалилась! Она приготовилась дать муженьку, вдруг разбушевавшемуся и опрокинувшему между делом два стула, достойный отпор и, проводив взглядом пролетевший в воздухе чайник, открыла было рот... Но Иван выбежал из дому, хлопнув дверью.

Грязные словечки застряли у Варвары в горле, сбившись в ощутимый гадкий комок, от которого по всему телу разлилась противная дрожь. «Господи! Да я скоро в этой пивнухе по-человечески разговаривать разучусь!» – ужаснулась Варвара и тяжело, без сил, опустилась на стул. Гнев пропал бесследно, лишь горели щеки и хотелось плакать. «Зачем я тогда к Гришке в город не поехала? Письму его поверила? – с горечью подумала она. – А если он не по своей воле написал? Отец заставил. Зачем я ему, лапотница и без гроша, в невестки была нужна? Он, небось, для Гриши полковничью или генеральскую дочь высватал. Да и в институте Гриша учился, попробуй-ка содержать меня с ребенком! Папаша-то бы, наверно, отказался помогать... Уж прожили бы как-нибудь сами».

Варвара вздохнула, прикрыла глаза и представила себя за стойкой в пивном ларьке перед толпой пьяных мужиков с разъяренными рожками и тыкающими ей под нос кулаки с зажатой в них мелочью. И она сама – в замызганном халате, надетом поверх фуфайки, в валенках с галошами, зимою в «чапке» лютая поморозня, или в летнюю жару – в прилипшем к телу платье, с распаренным красным лицом и вылезшими из орбит от злости и усталости глазами. Как она не спи-

лась еще в этой пивнухе?! Иные бабы и месяца не выдерживали, падали тут же под стойку, и под улюлюканье выгнанных из «чапка» алкашей их увозила милиция в вытрезвитель.

Варвара держалась перед пенсией в ларьке несколько лет. Хоть место хреновое, но прибыльное. Там недолгешь, там побольше пены нашурешь, тут поменьше сдачи сдашь. Поначалу противно все это было, но потом освоилась, успокаивая себя, а затем и твердо поверив – с пьяниц этих не убедит! Дома дожидался ее полный двор скотины с бесконечными «обрядами»...

«А ведь все по-другому могло быть!» Жила бы она в благоустроенной просторной квартире, ходила б по театрам и ресторанам, и раскатывал бы ее на шикарном авто солидный заботливый Гриша по улицам шумного большого города или б привозил на дачу понежиться на природе. И была бы она, Варвара, не раньше времени заплывшей жиром и покрытой морщинами бабищей с грубым застуженным голосом, а тонкой верткой интеллигентной дамочкой в туфельках на высоком каблукке. На таких дамочек, бывая изредка в Вологде, Варвара поглядывала насмешливо и недоброжелательно, с усилием подавляя в себе зависть. У нее дома в ящике шкафа тоже лежали туфельки на высоком каблукке, но по грязи непролазной на шпильках много не натопаешь. «Вот что значит не судьба! – опять и опять кручинилась Варвара. – Был бы рядом Гриша...»

Она поняла, что не встретиться немедленно с Булиным – только понапрасну мучить себя изо дня в день...

Гренлаха, по восхищенному выражению местных алкашей, «гудел, как трансформатор». Добришко, что жала его бабка всю жизнь копейка к копейке, Гришка каждый вечер не жалеючи развевал в пух и прах в городковской забегаловке. В дом его зачастили старушонки. Гренлаха распродал барахло, особо не торгуясь, и довольные сделкой бабули тащили на закукорках кто венский стулик, кто, на каждом шагу пыхтя и отдуваясь, тяжеленную пропыленную перину.

Удивительно, как в неказистый с виду домик Булихи входило столько различных вещей. Можно было подумать, что хозяйка пила и ела, спала на потолке, зависнув вниз головой, как летучая мышь. По полу и шагу ступить нельзя – вся изба вплотную заставлена всяким скарбом. Иначе не выходили бы каждый день из Гренлахиного фамильного «имения» отягощенные ношами люди, а вечером хозяин не загуливал бы после удачного аукциона.

Старухи, стоявшие у крыльца, ощупали Варвару любопытно-настороженными взглядами, под которыми ей захотелось повернуться и уйти, но Варвара сдержалась, тихо поздоровалась и, опустив голову, прошла в темный сенник. Казалось, что старухи-сплетницы знали, за чем она шла в Булихин дом.

Гренлаха, распаренный, видимо, основательно «хвативший» накануне, яростно наваливал старику соседу грубоватую копию картины «Утро в сосновом бору», заключенную в тяжелую, сколоченную из струганых брусков раму и упрятанную под стекло.

Он держал раму за верхние углы и, торгуясь, сердито ударял ею по столу, что стекло едва не вылетало:

– Сотня! – горячился Гренлаха. – Это тебе не мешок картошки, а произведение искусства!

Сосед, наклонив набок лысую, с толстыми складками на затылке голову, недоверчиво разглядывал копию:

– Кабы баба голая... А то сосны да медведи, эка невидаль. В нужнике только повесить. Червончик – красная цена, дороже не возьму.

– Тогда я разобью ее! – заорал Гренлаха и, подняв картину над головой, возможно, и хрястнул бы ею по столешнице, но замер, увидав в дверях Варвару.

– Так по рукам? – подступил к онемевшему Гренлахе сосед.

– Бери, черт с тобой! – Григорий с усталым видом втиснул раму ему в руки и торопливо смял в кулаке деньги.

Варвара, уступив дорогу покупателю, шагнула несмело навстречу Гренлахе, но тут из другой комнаты задом наперед выбралась свекровушка Мария Николаевна. Она волокла за собой большущую пуховую подушку.

– Гриша, отдашь незадорого?

– Отдам, отдам! – поспешно согласился Гренлаха.

Такая поспешность насторожила Окатышиху, она оглянулась, и в ее глазах Варвара заметила сначала изумление, сменившееся вскоре насмешливым упреком. Мария Николаевна, не говоря больше ни слова, отсчитала мелочь и так же волоком через порог потащила покупку. Варвара помогать не стала, подумала неприязненно: «Вечно для Феденьки сво-

его старается... Вот только Ваньке что теперь наговорит?»

Гренлаха, выпроводив старуху, помотавшись из угла в угол по горнице, догадался предложить гостю присесть на уцелевшую табуретку. Похоже, он не знал, с чего начать с Варварой разговор, все его красноречие и рисовка куда-то пропали. Да и обрюзг за минувшие дни Гренлаха, подурнел лицом, поизмялся.

– Глупый народ здесь! – прижимаясь задом к подоконнику, усмехнулся он первой пришедшей на ум мысли и кивнул на несколько темных, с толстыми обложками книг. – Не покупают книги. Старинные. У нас в городе у коллекционеров ба-альших денег стоят. Хотел здесь продать, чтобы с собою их не тащить. Не берут. Им лучше тюфяк подавай или стулик венский. Серые какие-то люди...

Он замолк под испытующим взглядом Варвары, пряча глаза, но через минуту неловкого молчания вновь обрадовался спасительной мысли, хлопнул себе ладонью по лбу:

– Что мы сидим, Варвара... Забыл, как по отчеству? У меня отличный коньячок имеется!

Варвара не притронулась к стакану, зато Гренлаха, «зарядив» подряд две дозы, заметно повеселел, и неловкая тягучая пауза в никак не клеящемся разговоре была начисто обрублена Гришкиной болтовней. Глаголил он то же самое, что и прежде, хвалился своим житьем-бытьем, а сам исподоволь смелее и смелее поднимал глаза на Варвару. Когда взгляды встретились, Варвара, замороженная, как

и в молодости готовая утонуть в карих бархатных глазах Григория, встряхнулась точь-в-точь после сна и спросила чужим тихим голосом:

– Как ты жил без меня, Гриша?

Гренлаха вздрогнул, резко отвел в сторону взгляд, замолк на полуслове.

– Я ведь, когда Володьку носить начинала, писала тебе письма чуть ли не через день, – продолжала Варвара. – Может, не все доходили?

– Какого Володьку? – на Гренлахином лице изобразилось совершеннейшее удивление.

– Володьку, сына твоего, – улыбнулась Варвара. – Я тебе в последнем письме написала, что ребенка жду. Да опоздала, видать, женился ты. А раньше – постеснялась. Я все эти годы думаю... – Варвара замялась, подыскивая подходящие слова, покраснела. – Думаю, не по своей воле ты женился. Счастлив ли?

– Врешь ты все! – вскинулся с подоконника Гренлаха и, побагровев, затопал ногами. – Нет у меня никакого сына! Жила с Ванькой Окатышевым, а про какого-то ребенка от меня толкуешь! Все это бабы бредни!

Варвара, испуганно глядя на разбушевавшегося Гришку, на его перекошенное злобой лицо, еще минуту назад бывшее с чуть насмешливым и заманивающим выражением, сжалась вся от стыда и бочком, бочком выскользнула из комнаты. В темных сенях она сглотнула слезы: «Вот и поговорили!» Мимо любопытных старух у крыльца надо было пройти с сухим и бесстрастным лицом.

ЧАПОК

Городок принял Ивана в свои объятия, холодные и склизкие. К середине октября внезапно дало о себе знать раннее предзимье: не один день кряду моросил непрерывно нудный дождь, под которым превратились в жидкий студень не только городские дороги и тропы, а, казалось, раскисли, потеряли очертания мрачно насупившиеся дома, деревья, заборы, раскис сам воздух. Вечером повалил крупными хлопьями снег.

Иван, запахнув поплотнее полы фуфайки и надвинув на самые глаза козырек кепки, выбрался по переулочной грязи на центральную улицу, ступил на мокро блестящий под тусклым светом фонарей асфальт. Пути было только два: или же повернуть направо, где обочь дороги загадочно светился окнами в нарядных шторах ресторан, или же податься налево – в сверкающий стеклом, как экраны множества поставленных друг на друга телевизоров, «чапок».

Иван выбрал последнее. Для гулянки в ресторации «длинный» рубль нужен, в фуфайке да сапогах туда не впустят, а тут наскреби горсть мелочи для «затравки» и... потом вынесут вперед ногами. Сквозь мутные стекла было видно, что «чапок» до отказа набит народом. Дверь перед Иваном вдруг распахнулась, едва не сбив его с ног створкой. Через порог ныром вылетел с жалобным ойканьем мужичок и зарылся рожею в грязь.

– Нэ-эхароший чэлавек! – кратко резюмировал автор сокрушительного пинка в его задницу Магомет Юсупов, старшина милиции.

В «нехорошем человеке» Иван признал старого знакомого Дере-

вянного Васю. Тот, поднявшись, стряхивал с одежки ошметки грязи, терпеливо дожидаясь, пока Юсупов уйдет. Прячась за спиной Ивана, Вася вновь проник в «чапок»...

Там стоял дым коромыслом. Завсегдатаи, толпясь за столиками, галдели, хохотали, спорили, матерились, хвастались, жалились. Иван пристроился в хвост длинной очереди к прилавку, где мужики стояли сосредоточенные, хмурые и лишь изредка громко роптали, когда кто-нибудь из молодых наглых пьянчужек пытался отовариться без очереди.

Впрочем, сегодня торговала пивом баба Тая, шустрая старушонка. Свои ресницы она щедро разрисовала тушью, губы подвела яркой помадой. Зажав дымящуюся сигарету в оскаленных металлических зубах, старуха, часто-часто встряхивая головой от нервного тика, нацеживала пивом кружку за кружкой, окутываясь клубами табачного дыма, молниеносно пересчитывала мелочь, и если кто-то возмущался насчет неправильной сдачи – бабка вертела пальцем у своего виска: дескать, сам понимать должен, что старость не в радость, но к перерасчетам больше не возвращалась.

– Ничего не знаю. Склероз! – интеллигентно надтреснутым фальцетом возвещала она.

Жаждущие мужики в очереди уже гневно вопили... Опять наггела молодая пьянь. Старушка мужественно отбивалась сухими ручками от тыкающихся через плечи очереди ей в лицо кулаков с зажатой мелочью, да где уж старой справиться, коли иной кулак размером с телячью голову!

– Метелкой я вас, метелкой! – баба Тая, впадая в ярость, тыкала грязным венником в ухмыляющиеся рожи посетителей.

Очередь гоготала, осыпая подковырками пострадавших, порядок ненадолго восстанавливался. «Как это Варька в таком же «шалмане» целые дни и вечера крутится!» – сокрушенно подумал Иван, отходя от стойки. Мимо его старшина Юсупов протащил за шкирку к дверям Деревянного, слабо брыкавшегося, с плаксиво скривленной харей, и опять Вася стремительно раскрыл лбом створки...

Иван, встав за столик, принялся оглядывать посетителей «чапка». Вот тебе и «люди в космос летают, океаны переплывают!»! Пьяные, опухшие, обросшие щетиной бессмысленные рожи, будто от рождения обречены они полжизни в этой «тошниловке» проводить. А ведь немало тут народа умелого, мастерового, даже из местных интеллигентов кое-кто – не все горе-горькая пьянь! И многих страшный конец ожидает. Почему же они здесь очутились? Вон, мать говорит, прежде на весь городок были двое пьяниц, над которыми все хохотали и потешались, а теперь два трезвенника едва ли найдутся!

У матери объяснение тому простое: храм Божий в городке разрушили. Иван видал на картинке этот собор с устремленными ввысь куполами, усыпанный каменным кружевом, величественно плывущий над серенькой панорамой городишка. А что осталось? Какое-то нелепое с плоской крышей здание, где поначалу под суровыми взорами святых со стен лязгали железом тракторные мастерские, потом в наглухо заштукатуренном нутре собора возник «очаг куль-

туры». Привлекал он пареньков и девчонок танцевального возраста покривляться да подергаться под грохочущую музыку, которых потом, чуть повзрослевших, и калачом нельзя было туда заманить. И еще чудаков-мудаков, наподобие давнего недруга братьев Окатышевых Пэки Комсомольца, до седых волос и взрослых детей толкущихся в общественных местах. Пэка на спор въехал в очаг культуры верхом на кляче, чуть пригнувшись к конской шее в высоких его воротах. Испуганная криками беснующейся толпы зевак кляча прямо посреди зала навалила на уцелевший чудом узорчатый старинный паркет. Пэка на глазах у присутствующих выпил из горла выпоренные пол-литра и... отправился в кутузку за нарушение общественного порядка.

Что же в душах этих людей в «чапке»? Очищающего от скверны и мелочной суеты Храма нет и в помине. Есть только жалкий, загаженный его обломок, и то не у каждого. Неверующий Иван прежде усмехался над словами матери. А тут впервые горько пожалел, представив себя безобразным обломком среди подобных ему, из которых вряд ли возможно воздвигнуть храм.

В пивнуху с улицы ввалилась очередная шумная ватага. Иван пригляделся и обомлел: среди прочих был сын его Вовка, а рядом с ним, плечом к плечу, вышагивал Гренлаха и о чем-то оживленно говорил. Пока ватага, подвалив к прилавку, проталкивала своего представителя в начало очереди, Иван, крадучись, стараясь быть незамеченным сыном, выбрался из «чапка». На улице, подставляя лицо зябкой дождевой измороси, он облегченно вздохнул и понял, что сейчас просто-напросто струсил.

СЫН

Варвара после разговора с Гренлахой не один день к ряду ходила сама не своя. Пуще всего ее жег стыд. «Зачем я ему так-то?! Сразу про сына, сразу себя ему на шею вешать? – казнилась она. – Любому о таком спустя много лет скажи – вряд ли поверит. А я, дура, еще выспрашиваю: счастлив ли без меня, помнит ли? Да он и думать обо мне забыл давным-давно! Живет себе человек, а тут я выискалась. Первая любовь, видишь ли! Навязалась...» Но Варваре было все-таки обидно и больно, что Гренлаха так шустро и шумно отрекся от сына. Испуганный и ошарашенный Григорий, выставивший перед собой, будто для защиты, ладони, все время стоял теперь перед глазами...

Прошло две недели. Иван по-прежнему жил у матери, и Варвара, в другое время давно бы пригнавшая муженька в свой дом, к свекрови не шла, что-то удерживало ее. «Хорошо Музке! Вот бы бойню там учинила, долго бы помнили!» – не раз с сожалением подумала Варвара, обряжая в хлеву скотину.

Вовка в последние дни стал как-то странно поглядывать на мать. Тоже гусь, чадо неразумное! Девочек в городке нет, спутался с разведенной бабенкой, да еще и с ребятами. Та с брюхом нынче ходит, каким ветром надуло – неведомо: не один, поди, Вовка к ней по ночам шастал. Прежде сынка Варвара удерживала: не торопись жениться, стерва какая-нибудь попадет, намаешься. А времечко-то минуло, не заметили: Вовке много за тридцатник перескочило. Будет

ли он теперь мать слушать, а все равно для нее – ребенок.

«Что-то таит в себе да не знает, как начать», – насторожилась Варвара, но с расспросами к сыну приставать не стала, сам, коли надо, скажет. И вправду Вовка, потупясь, спросил:

– Мам, тут один мужик в городке появился, по кличке Гренлаха. Ты его знаешь?

Варвара в ответ промолчала.

– Люди разное про него треплют, да и он сам, – усмехаясь, продолжал Вовка. – Будто он мне... отец?

Сын, наконец, поднял глаза на мать, и Варвара поспешно отвернулась, не в силах выдержать его вопрошающий, исподлобья, взгляд.

– Мало ли чего у нас мелют. Наврут с три короба, только уши развешивай! – проговорила Варвара, чувствуя, как запылала щеки.

Она ждала этого вопроса, готовилась к нему, но сейчас смешалась и, не добавив ничего больше к сказанному, торопливо вышла из комнаты...

Поздним вечером Варвара, услышав чьи-то крики во дворе дома, выглянула в окно и обомлела. Под фонарем у калитки стояли в обнимку, покачиваясь и горланя пьяную песню, Вовка и... Гренлаха. Вовка, вывернувшись из Гренлахиных объятий, сделал пару нетвердых шагов и повалился. Гришка остановился над ним, качаясь на широко расставленных ногах:

– Сын мой! – тыкал он пальцем в пытавшегося встать на карачки Вовку. – Я к тебе столько лет шел, столько лет тебя искал.

И нашел-таки тебя, дорогой сыночек... – Гришка зычно икнул. Он откровенно любовался звучанием своих слов. – Я увезу тебя отсюда, дорогой мой сынуля, в настоящий город. Там ты будешь ба-альшим человеком, богатым, моим наследником будешь. Как сыр в масле кататься! Во! – Гренлаха для пущей убедительности ввернул поговорку, не вдруг пришедшую на ум.

Вовка в ответ безмолвствовал, похоже, собираясь прикорнуть на земле. Варвара опомнилась и убежала из дому:

– Сволочь, гад, что ты над парнем-то сделал?!

Она что есть силы оттолкнула Гренлаху, и тот стремительно плюхнулся на задницу невдалеке от Вовки. Пока Варвара волокла стонущего и невнятно бормочущего сына в дом, Гренлаха, не пытаясь встать, недоуменно пучил ей вслед глаза.

– Зачем мне такая жизнь! – зарыдала в голос Варвара, завалив полубесчувственного сына на диван и стягивая с ног его извоженные в грязи сапоги. Справившись с обувкой, она опустилась на стул рядом с диваном и долго не могла успокоиться.

Варвара словно бы очнулась, поспешив вытереть рукавом слезы, от чьего-то тяжелого пристального взгляда ей в затылок. Она вспомнила про Гренлаху, но продолжала сидеть не оборачиваясь. Григорий грузными шаркающими шагами подошел к ней и положил свои ладони ей на плечи. Варваринуму затылку даже жарко стало от его шумного, с присвистом, дыхания. Варвару обволокло облако сивушного духа, она задохнулась в нем и, зажав ладонью нос, вскочила со стула.

– Варя, Варенька! – как можно нежнее заворковал пропитым

хриплым баритоном Гренлаха. – Ты посмотри, сынок-то какой у нас славный?! – кивнул он на растянувшегося на диване Вовку. – На меня похож очень. И на тебя тоже. Не ожидал, не ожидал, что сын такой взрослый у меня. Спасибо тебе, Варенька, что воспитала его... Как вы тут, наверное, бедствовали без меня?! Ну, ничего, я теперь здесь, законный Володькин отец, в обиду вас не дам...

Варвара слушала Гришкину речь вначале оторопело, потом все с большим волнением, а под конец разозлилась. Она оторвала от щелей в полу взгляд и уставилась на Гренлаху. Он растолковал это по-своему:

– Варя, я же тебя всю жизнь любил! – он опять шагнул к ней, попытался обнять за шею, но руки его соскользнули и больно ударили Варвару по грудям.

Звонкая оплеуха, от какой, бывало, и пьяный Иван еле удерживался на ногах, пунцовея подбитой щекой, Гренлаху отбросила к стенке. Он долго тряс головой, силясь осознать неведомую ему перемену в Варваре, пока его не осенило:

– Это ты от гордости своей, скажи, Варя? Верно? Думаешь, я вознесся высоко там, в городе, так и унижаю тебя? – Гренлаха вновь приближался к Варваре, но осторожными выверенными мелкими шажками, видно, собираясь в случае чего проворно отскочить. – Хотите, я у вас тут навсегда останусь? Лети все там, в городе, прахом! Да и лететь-то особо нечему. – Гришка помолчал, вздохнул, махнул рукой. – «Директором» платного туалета я на вокзале работаю, такой вот коммерсант!.. Телеграмма, что бабка умерла, не знаю, как меня и нашла. А я дорогу сюда, на родину, забыл. Еле нашел, приехал...

Не знаю, где и бабка похоронена, при каком-то, говорят, дурдоме. Хорошо, хоть добришка после нее осталось, было на что погулять. Только и всего... А я тепла хочу! Понимаешь, Варя, тепла!

Он шагнул к Варваре и опять попытался робко обнять ее:

– Варя, оставь ты Ваньку! Зачем тебе этот лапоть и Володьке неродной отец? А, Варь?.. Неужели в тебе с той поры ничего не осталось? Помнишь, Варь?..

– Не надо, Гриша, уходи! Раньше думать было надо! – Варвара, отворачиваясь, отталкивала его. – Уйди, ради Бога! Добром прошу!

– Козел старый! А ну пошел вон!

От этого крика оба вздрогнули. Вовка, вероятно, представлявшийся Гренлахе бесчувственным поленом, оклемался и, недоуменно хлупая ресницами, смотрел на обнимавшихся мать и Гренлаху. Поскольку с места некоторый из них не сдвинулся – застыли они, как к полу примороженные, – парень со злющим выражением на мятом лице, порываясь встать, сбросил босые ноги с дивана. Кое-как поднявшись, Вовка недолго удерживал равновесие, как подкошенный рухнул ничком. Варвара и Гришка одновременно бросились к парню.

– Убирайся, убь-ю! Паскуда! – выл, хлупая разбитым носом, Вовка. Руки его с растопыренными пальцами шарили по полу в поисках уразины.

– Сынок, успокойся!! Веди себя прилично, как твой папа! – попробовал урезонить Вовку, растерянно ухмыляясь, Гренлаха, но в тот момент парню подвернулась под руку выкатившаяся из-под дивана порожняя бутылка, и он, радостно взвизгнув, сжимая ее за горлышко, поднялся на колени.

Гренлаха, не сводя глаз с Вовкиной руки, попятился к двери, бормоча:

– Я еще как-нибудь зайду, Варя... Вот характерец у сынка, весь мой. Пить нельзя ни капли... Так я зайду?

– Гриша, уходи ради Бога! – взмолилась Варвара.

Замешкавшегося Гренлаху едва не настигла бутылка, со звоном разбилась об дверной косяк над его головой.

– Мама, не пойму я! – уткнулся Варваре в колени Вовка. – Все говорят в городке, что Гренлаха – мой отец. А сегодня подошел он ко мне на улице. Мол, выпить, поговорить надо. А потом, потом... – Вовка пьяно всхлипнул. – Я, говорит, твой родной отец, здравствуй, сынок!.. Мама, а батя тогда кто же?

– Батя? Он тебе и есть батя, – спокойно проговорила Варвара.

На нее нашло странное спокойствие, и она удивлялась ему. Еще минуту назад, совершенно растерянная, она металась между Вовкой и Григорием, а теперь, сидя на стуле, неторопливо и нежно перебирала кудри прильнувшего к ней сына. Единственное, что заставляло Варвару подергивать уголками губ и от чего неприятно покалывало сердце, – это впервые увиденное ею искаженное настоящей злобой лицо Вовки, который – она была уверена – и мухи-то не обидит, даже худое слово не посмеет сказать. А уж напиться вусмерть?! «Откуда в нем такое? – задавала себе вопрос Варвара и с горечью сама же отвечала: – От нас. Чему ж тут удивляться!»

Она посмотрела в окно и там, на дороге, под тусклым кругом неверного света фонаря, тонущем в промозглой пелене дождевой мороси, различила скрюченную

фигуру Гренлахи. Он курил, пряча сигарету в горсти, и поглядывал на окна. То ли дождь пуше полился и погасил огонек, то ли Гренлахе стало ясно, что назад его не позовут, он, еще глубже вжав голову в поднятый воротник и горбясь, неуверенными шагами медленно побрел по улице.

Варвара, не шелохнувшись, смотрела ему вслед... Прежде, все минувшие годы, постоянно дума-

лось ей о Гришке. А теперь она поняла, что осталось лишь сожаление о давно прошедшей молодости, о наивной полудетской любви. И больше ничего. Остался в памяти не сам человек, а только далекий образ его, живущий в ушедшей навсегда юности, холодный и несуществующий призрак, который Варвара так бережно лелеяла. Все прошло, все кончилось и никогда не вернется.

Глава четырнадцатая

ГЛОТОК ВОЗДУХА

Иван не заметил, как пролетели дни короткого отпуска. Придя рано утром на работу, он привычно уселся на широкий чурбан у ворот гаража и, ежась от холодка, озирался по сторонам, будто надеясь увидеть необычное, что могло бы свершиться в отсутствие его. Но все было по-старому. Налимов остановился рядом с ним как ни в чем не бывало:

– Лимузин на ходу? Тогда дует через полчаса в Вологду!

Всю дорогу молчали. Высадив Василия Ивановича в нужном месте, Иван надумал проехаться по городу. У вокзала, заметив бочку с квасом, Окатышев затормозил. И не успел допить кружку кислото, не утоляющего жажду пошла, как кто-то подтолкнул его под бок. Иван обернулся – и неприятный холодок пронял его меж лопаток. Перед ним стоял Гренлаха. В помятом грязном костюме, в ставшей похожей на кепку шляпе, с «фингалом» под глазом.

– Что не признаешься к старым друзьям? – покривил он в усмешке подбитые губы. И ответил на немой вопрос Ивана: – Жлобы ваши

городковские поколотили. Вот уж никакой благодарности у народа нет! Я бабкину конуру одной бабенке незадорого толкнул. Горячая попалась – ночь с ней провел и часть суммы списал. За такую не жалко. А потом всех пьянчуг в «чапке» собрал и в ресторан привел угощать – вспоминайте, земляки, добрым словом Григория Булина! Так что они, свиные хари, учинили? Нажрались и меня же – в тычки! Меня, Григория Булина! – Гренлаха задохнулся от возмущения. – А там менты забрали и мне, как последнему фраеру, условие поставили – в двадцать четыре часа убраться из городка!

Гренлаха заматерился, Иван молча смотрел на него...

С какой легкостью развеял по ветру Булихино добро явившийся невесть откуда внучек! Все, что Глафира тщательно, с горящими от жадности глазами укладывала в сундуки и прочие ухоронки: и доставшееся в наследство от отца, и притащенное из разоренных в коллективизацию домов, и привезенное мужем из далекой Германии... Все Гренлаха пустил по дешевке и

с легким сердцем пропил. А ведь в этом хранилась, пусть и малюсенькая, частичка изнурительного труда тех ослабших от бескормилцы пацанов, что в послевоенный год перелопачивали неподатливую землю в Булихином огороде. И словно от ударов батога Гренлахиной бабки у Ивана заныла, разболелась спина. Неизгладимы горькие впечатления из детства!

– Все-таки как бабка твоя тогда узнала, что я в амбаре-то вашем очутился? – прервал он долгую цветистую руладу Гренлахиных матюгов.

Гренлаха поначалу не понял, о чем допытывается Иван, недоуменно почесал затылок под шляпой. Наконец вспомнил:

– Так я же ей и сказал. Что делать, в свою компанию не берете, драться бы вам только и дразниться. Вот и надумал я вам подлянку подкинуть и наохотаться потом вволю. Ты самый в компании меньшой, доверчивый, легче в западню заманить. Тебя и принялся обрабатывать, ты на крючок и клюнул. Извини, конечно, потрепала тебя малость бабка... – Гренлаха добродушно осклабился.

– Подлец ты! – не сдержался Иван.

– Что-о?! – Гренлахино лицо вытянулось. – А сам ты кто? Жлоб! За счет того, что Налимову Ваське задницу лижешь, и существуешь! А сам – тьфу! Пустое место! – Гришка скривил губы в презрительной усмешке. – И Варька твоя... Кобыла деревенская, толстозадая... Стерва!

Это Гренлаха изрек грозно, но и обиженно. Иван, стиснув кулаки, шагнул к нему, но Гришка, наученный горьким опытом в городке, стремглав припустил к трогавшемуся на путях поезду и с ходу,

летом, заскочил в тамбур вагона. Высунувшись из двери, он еще прокричал что-то, шибко разгневанный, но Иван не расслышал...

Одна мысль крепко засела в его голове. И по обратной дороге он отвечал невпопад сияющему самодовольно Налимову – начальство похвалило, непонимающе смотрел на Василия Ивановича, со встречной машиной чуть не столкнулся.

– Остаешься, Иван Петрович? – полюбопытствовал с извечной своей улыбочкой Налимов.

– Где?

– У меня на работе.

– Нет, спасибо, Василий Иванович. Решил уйти – уйду.

– Вольному – воля. Смотри, не пожалей.

Налимов отвернулся, и Иван опять остался наедине с прежней думкой... А ведь не зря Гренлаха «обласкал» Варвару и стервой, и кобылой. Не зря. Будь бы что – расхвастался бы Гришка всем и перед Иваном вряд ли бы такое скрыл, насмешливым взглядом или словцом выдал бы. Откуда у него на Варьку злость? Да все оттуда же... Мало ли чего по молодости было. И Иван знал, с чем Варьку за себя брал.

Все-таки на душе стало легче...

Высадив Налимова, Иван поставил машину в гараж и, не торопясь, в задумчивости побрел по улице. По пути привернул к Олехе Клюеву. Не собирался и заходить, но ноги сами занесли. Олеха теперь жил дома. Ивана встретил так, как будто и не бывало между ними никакой размолвки: приветливо хлопнул по плечу, вытащил из ухоронки банку с «гобешным».

– Умотал балбес-то, знаешь? – обрадованно сообщил он Ивану.

– Вроде балбес-то у тебя в корешах состоял, – усмехнулся Иван.

– Никогда! – отвечивал Олеха. – Я его в первый же день покинул.

– Все же скажи, Олеха, чего это тебя к Булихе на житье занесло. Она ведь тебя тогда тоже чуть не зашибла, а тут ты вдруг о старухе заботиться вздумал.

– Вот-вот, чуть не зашибла. Думаешь, я забыл? Я как разругался с бабой своей, дверями хлопнул, а куда податься? Держусь с гонором, а сам кумекаю, чего делать. И пришла мысль – дай, думаю, подселюсь к Булихе. Она полоумная, по ней хоть черт под боком живи. В первую ночь валяюсь у нее на полатах сам не свой: ну, старая, пришел тебе черед расквितаться со мной за труды и побои. Поверь, уж вроде бы все забылось, а тут как наяву, лежу и вижу: ору как блажной, а она меня батогом охаживает... А поглядел с полатей вниз – дряхлая, в чем только душа держится, старушонка тычется из угла в угол и так целую ночь и целый день. Ни постирать – вся черная, как негр, ни пожрать сготовить. Заплесневелые хлебные куски в воде размочит, нажует, и вся недолга. И мне каждые пять минут этак жалостливо: «Не видал ли ты Гришеньку?» Ну что с нее возьмешь? Ей-богу, жалость пробирает... Я-то поначалу рассчитывал пожить у нее, за труды наши плату взять, коли сама тогда с нами колотухами рассчитывалась. Пошарил там-сям, золотишка не обнаружил, трухлявого и гнилого барахла, которым дом забит, мне и задаром не надо, денег тоже нет. Пока в уме была, видно, все Гренлахе отсылала, а и получала пенсию с гулькин нос. И все же вот что я прибрал...

Олеха, хитро щурясь, вытащил из ящика комода сверток. Развернул его, и Иван увидел ворох старых облигаций.

– За них деньги выплачивают, – деловито рассуждал Олеха. – Я и с тобой поделюсь, вместе на Булиху ишачили.

В ответ Иван тягостно вздохнул: и смешно над Олехой, и обидно за него.

– Ты еще с Федькой моим поделись. А как с Серегой-двоюродником делиться будешь? На тот свет перешлешь?

– Ты че, Ванька? – недоуменно посмотрел на Ивана Олеха. – Все честно, за труды. Не наживемся все равно. Думал, хоть соберемся да винца попьем. Постой, ты хочешь сказать, что я...

– Вот-вот!

– Никогда вором не был! – Олеха ударил себя кулаком в грудь. – И взял положенное за труды. Ты, может, все забыл, а я нет.

– Ничего я не забыл, – Иван поднялся из-за стола. – А с облигациями твое дело.

– Ты помнишь, как она нас морила? Будто собачат! – выходя из себя, вопил Олеха вслед Ивану. – Имеем полное право!..

Задал Олехе задачу. Поорет, побушует он, допив «гобешное», обхватит голову руками, слезу пустит и будет выход искать. Олеха – мужик не бесстыжий, не кусочник, совесть его замучит, что такая проруха с ним приключилась. Хоть и чертовы эти бумажки нынче гроша ломаного не стоят, и, может, собирает их кто-нибудь, как почтовые марки. «Да и сам-то как бы поступил?» – спросил себя Иван и не ответил. Крепко же судьба Булихи и их судьбы перехлестнулись! Видно, век тянуться тому...

Снова одолела его давешняя думка... Варвара. Прожили с ней столько лет, всякое бывало, но никогда не упрекал ее Иван давнишней любовью к Булихиному внуку. Вовка был ему как родной сын, да и родился-то тем более после свадьбы. Варвара тоже, даже в яростные минуты семейных ссор, не противопоставляла Ивану Гренлахины достоинства. Но все совместно прожитые годы между ними точно существовал некто незримый третий. И вот он явился, облеченный в живую плоть. Иван не отнесся к Гренлахе как к наглому захватчику, вломившемуся в их с Варварой семью, не поспешил вышвырнуть с треском из окна «зарвавшегося фраера» к полному недоумению знакомых мужиков, не оторвал у «чапка» Вовку от пьяного кровного отца – самому тому решать, с кем быть.

Иван стал ждать. Пусть прежняя его жизнь трещала по швам, летела к черту, сулила невообразимые утраты, пусть ночью от беззвучного крика сдавливало грудь и дьявольской тягой тянуло к дому, сложенному своими руками, к Варваре... Но он, скрипя зубами, сдерживал себя. Теперь, похоже, ожиданию пришел конец. На лавочке у дома матери одиноко сидела Варвара.

– Пойдем домой! – она открыто и прямо заглянула мужу в глаза. – Вовка-то наш к своей перешел, дите там скоро народится. Нам, стало быть, внуку...

Поздно вечером Иван вышел на крылечко. После жарко натопленной горницы студеной воздух приятно освежил лицо. Звезды, словно пригоршни мелких угольков, щедро разбросанных из гигантского костра каким-то взбалмошным

великаном, ясно мерцали в черном небе. Порою уголек срывался со своего места и, прочертив небо живой огненной искрой, падал где-то, шипя, в снежный сугроб.

Иван осторожно спустился по скрипучим ступенькам, прошел двор, приоткрыл калитку, по-прежнему жадно дыша полной грудью. Припомнилось, как хватал он воздух, когда еще, будучи в пацанах, был вытащен из угарной избы соседками, сбежавшимися на Федькин истошный зов... Мать тогда пришла с работы из ночной смены, затопила печь и, убаюканная мерным треском хорошо разгоревшихся дров, задремала. Федька умчался в школу, а Иван, простуженный, калил пятки и пускал сопли на печной лежанке. Он поступил, как взрослый... Когда дрова в печи прогорели, задвинул тяжелый неподатливый задвиг наглухо и довольный растянулся опять на лежанке.

Вскоре ноздри ему защекотал сладковатый, заставляющий слипаться глаза душок. Иван приподнял голову от подушки, и вдруг все – закопченный, в кружочках сучков потолок, кухонька с утварью, спящая на лавке у стены мать – поплыли куда-то, заколыхались перед его глазами, а под ложечкой стало приторно посасывать. Зыбкие синеватые струи, будто змейки, шевелились под потолком, и слабый свет из окон был таким же синим. Иван, перебарывая сон, с любопытством вглядывался в эти странные превращения, пока какая-то сила трескуче не сжала ему, словно в тисках, виски, и он, слабо трепыхаясь и захлебываясь от разлитой по всему рту сладости, потерял память...

Вытащенный на волю, Ванька очнулся от страшной, раскалывающей голову боли. Потом его начало рвать, и он долго бился в

снегу. Но ясно сознание с каждым глотком морозного, обжигающего грудь воздуха, и Иван хватал его ненасытно широко раскрытым ртом...

Вот и теперь, как тогда, в далеком детстве, стало легче. Словно выполз из угарной избы, где все обманчиво и мягко плыло, менялось местами, теряло свой изначальный облик в синей дымке угара, сладкой и горьковатой. Иван чутко вслушался в тишину, и ему почудилось, как где-то далеко отсюда все еще стучат неумоимо колеса поезда, уносящего разобитого на весь мир и одинокого, бесприютного Гренлаха, отвергнутого родной стороной.

В домах, тесно стоявших по улочкам городка, там и сям зажигались светлые квадратики окон. За одними – тешат друг дружку Федор с незабвенной Музочкой, за другими – ходит по горнице, думая о сыновних судьбах, мать, за третьими – понуро сидит, втяпавшись в очередное недоразумение, Олеха, ищет выход.

Не мерцают больше тусклые окошечки хижины Славика Пепелушки, и замолкла навсегда, не играет вдруг перепляс в том краю гармонь. Ее, любимую, крепко сжимая в руках, почил Славик на чьей-то свадьбе. И друг-приятель его Рукосук освободил «жилплощадь» в подвале для другого бедолаги; его хмельного прихватили «менты», и поскольку взять с него, что с голого рубаху содрать, для смеху ли, для острастки, отвезли Алика по шоссе километров за пяток от городка и вытряхнули пробежаться обратно по морозцу. Протрезвевший Рукосук, видно, надеясь на чье-то доброе сердце, принялся «голосовать», да кому-то нынче просто пустой помехой ока-

зался человек на обочине – шваркнули Алика так, что мало чего похожего на него осталось.

А сынок Сомовский Налимову кукловодом быть, как папаша, не захотел. Шаражку Василия Ивановича, то бишь по-новому фирмочку, свой филиал, ловко обанкротил, оставив Налимова кокотышки на кулачках сосать. Пришло время прощелыг и хапуг, Василию Ивановичу бы возрадоваться и возликовать, а его, как старого задышливого мерина, безжалостно отпихнули от кормушки те, кто помоложе, посноровистей, позубастей. Кусок сладкого пирога, который удалось захватить, вырвали, и, скрежеща от обиды и досады вставными зубами, затомился он не у дел. И вот тут-то хватил его «кондратий».

Все домочадцы Налимова, включая и его супружницу, дружно его покинули; ему бы погибаться полудохлomu в одиночестве или в лучшем случае – в «богадельне». Но на одре его печаловать стала... Лена Пазгалова. Иван как-то встретил ее, спросил, не надо ли чем помочь Василию Ивановичу. Лена, поджав тонкие высохшие губы, в ответ молча отрицательно мотнула головой.

Но не только худо приходило в последнее время на Старую улицу – Васю Деревянного отыскал повзрослевший сын, бывший детдомовец, и увез отца из ночлежничечгарки к себе, в свою семью...

Снизу от речки, от Иванова дома, взбегает эта улица к плоской вершине холма, так же круто по склону взбегают и другие, и здесь, в их пересечении, возвышается Божий храм, в котором споро катят затасканную «киношку» о чьей-то неудавшейся, а может, наоборот, чересчур счастливой судьбе.